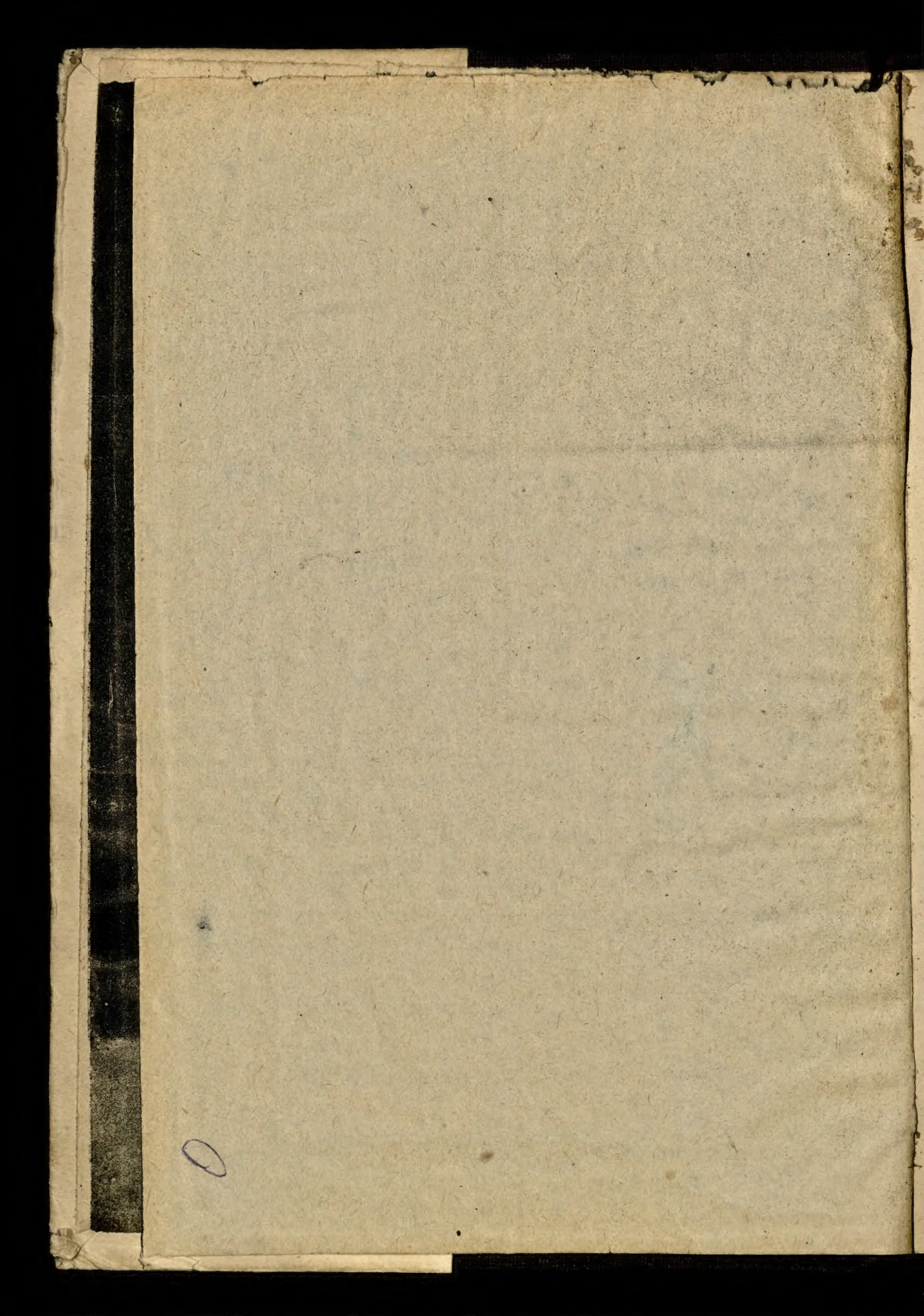




*Пролетарии всех стран, соединяйтесь*

ИСТПАРТОТДЕЛ ОБКОМА ВКП(б) ЦЧО



И. И. ГЕНКИН

# В КАМЕРАХ ОРЛОВСКОГО ЦЕНТРАЛА

ВОСПОМИНАНИЯ ПОЛИТКАТОРЖАНИНА



ПАРТИЙНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦЧО ВОРОНЕЖ 1934

## СОДЕРЖАНИЕ.



Отв. редактор *И. А. Сафонов*
Сдано в набор 28 XI—33 г.
Уполн. обллит № 1038
Формат бумаги 72×105
Текст отпечатан на бумаге
Окуловской фабрики
Обложка—„Сокол"

Техн. редактор *В. Т. Ющенко*
Подписано к печати 22-II—34 г.
Индекс П—66. Партиздат № 102
Об'ем 7 п. л.×46848 п. зн.
Тираж 5150
Заказ № 4417

Воронеж. Тип. «Коммуна» П. Рег. 61.

*ПАМЯТИ*
*РАИСЫ ЛЬВОВНЫ КОГАН-ГЕНКИНОЙ*
*(1892—1932 г.)*
*ТОВАРИЩА И ДРУГА*
*ПОСВЯЩАЮ*

*АВТОР.*

## ОТ ИСТПАРТА.

Эпоха политической реакции 1907—1910 гг., открывшаяся государственным переворотом 3 июня 1907 года и учреждением черносотенно-октябристской III думы, выражала собой „союз царизма с черносотенными помещиками и верхами торгово-промышленной буржуазии“, союз „царя с Пуришкевичами и Гучковыми“ (Ленин), направленный против революционного пролетариата и его союзника—крестьянства. „Царизм победил. Все революционные и оппозиционные партии разбиты. Упадок, деморализация, расколы, разброд, ренегатство, порнография на место политики“ (Ленин, т. XXV, стр. 176, изд. 2-е).

Выйдя временным победителем из революции 1905-1907 гг. русское самодержавие мобилизует все реакционные черносотенные силы для окончательного разгрома политических и экономических организаций рабочего класса.

В эту эпоху „на пролетариат обрушилось и обрушивается всего больше ударов и со стороны самодержавия и со стороны быстро об'единяющегося и наступающего капитала“ (Ленин, т. XIV, стр. 445, изд. 2-е).

Против революционного пролетариата и его партии пускаются в ход военно-полевые суды; десятки тысяч революционеров-пролетариев ссылаются царским правительством на каторгу и в тюрьмы.

„Несмотря на это, пролетариат сохраняет, по сравнению с другими классами, наибольшую сплоченность и наибольшую верность своей классовой партии, с которой слила его революция. Пролетариат продолжает борьбу за свои классовые интересы и углубляет свое социалистическое классовое сознание, оставаясь единственным классом, способным последовательно руководить новой революционной борьбой“ (Ленин, т. XIV, стр. 445, изд. 2-е).

Эту борьбу пролетариата в условиях реакции возглавляет партия под руководством Ленина.

Верная революционному учению Маркса—Энгельса партия быстро ориентируется в новой исторической обстановке, прекрасно понимая, что „великое поражение дает революционным партиям и революционному классу настоящий и полезнейший урок исторической диалектики, урок понимания, умения и искусства вести политическую борьбу“ (Ленин, т. XXV, стр. 176, изд. 2-е).

Уйдя в глубокое подполье, умело соединяя нелегальную работу с „легальными возможностями“, партия на всем протяжении эпохи реакции ведет ожесточенную войну с самодержавием и капитализмом, разоблачая перед широкими массами пролетариата и трудящегося крестьянства контрреволюционную сущность третье-июньского режима.

Вместе с тем партия ведет борьбу и с оппортунистическими течениями в рабочем революционном движении.

Руководимая Лениным и тов. Сталиным, партия разоблачает упадочничество, деморализацию и ренегатство меньшевиков-ликвидаторов и центристов-троцкистов, окончательно изгоняя их из рядов революционной социал-демократии. Партия ведет непримиримую борьбу с этими агентами буржуазии в среде пролетариата, предателями интересов революции, завершившими к этому периоду путь собственного перерождения, превратившимися в социальную опору столыпинщины. Не менее жестокую борьбу партия ведет в этот период и с „отзовистами“, этими „ликвидаторами наизнанку“ (Ленин). Большевики-ленинцы беспощадно разоблачили и выгнали вон революционеров фразы, которые не хотели понять, что „надо отступать, что надо уметь отступить, что надо обязательно научиться легально работать в самых реакционных парламентах, в самых реакционных профессиональных, кооперативных, страховых и подобных организациях“ (Ленин).

Непримиримо борясь на два фронта, преодолевая неслыханные трудности, созданные политической реакцией, наша партия сумела обеспечить организованное отступление и сохранить свои силы. „Из всех разбитых оппозиционных и революционных партий большевики отступили в наибольшем порядке, с наименьшими ущербами для их „армии“, с наибольшим сохранением ядра ее, с наименьшими (по глубине и неизлечимости) расколами, с наименьшей деморализацией, с наибольшей способностью возобновить работу наиболее широко, правильно и энергично“ (Ленин, т. XXV, стр. 177, изд. 2-е).

Ведя борьбу с ликвидаторами-меньшевиками и левыми ликвидаторами за сохранение и укрепление подпольной партии, большевики вместе с тем ведут организованную борьбу с политическим террором царизма, стремясь всеми мерами сохранить и укрепить связь с массами пролетариата и крестьянства. В этой борьбе они используют нелегальные средства и легальные возможности. Они организуют протесты против расстрелов и каторги в заграничной социал-демократической печати; через голову контрреволюционной думы, используя ее, призывают массы рабочих и крестьян к организованной борьбе с террором. Не прекращают большевики политкаторжане и борьбу с перерожденцами — меньшевиками как находящимися на воле, так и сидящими в каторжных тюрьмах.

Вместе с тем, они борются с мелкобуржуазными эсеровскими авантюристами, потерявшими голову и дрогнувшими под ударами реакции. В то же время большевики политкаторжане проводят большую воспитательную политическую работу среди политкаторжан, поднимая воинствующий дух большевизма у товарищей, подвергающихся физическому насилию, оказывая им моральную поддержку, организуя протест против этого насилия.

Орловский централ создан в первый год эпохи реакции в феврале 1908 года. С этого времени он входит в историю со всеми своими кошмарными ужасами. Его режим является ярким показом звериной ненависти царизма к революции.

Создание орловской каторги—явление не случайное. Царскому правительству нужна была новая тюрьма, так как имеющиеся тюрьмы не вмещали всех ссылаемых на каторгу. И такая тюрьма, которая сумела бы стать местом жестокого политического террора и расправы с революционерами.

Орловский централ действительно жестоко расправлялся с тысячами заключенных, сотни из них были замучены.

По приблизительным нашим подсчетам, на основании архива каторжной тюрьмы и тюремной инспекции, с 1908 г. по октябрь 1912 г., в тюрьме было замучено и умерло от истязаний 437 человек. Понятно, что эти цифры далеко не полные. В 1908 г. (первый год каторги) из 795 заключенных замучен 91 человек, или около 11,5 проц. общего состава каторжан, в 1909 г.—70 человек, или 10 проц., в 1910 г.—88 чел., или 10 проц., в 1911 г.—114 чел. из 750, или более 15 проц., за 9 месяцев 1912 г.—74 из 717 заключенных. Туберкулезом болело более 15 проц. заключенных политкаторжан.

Орловская каторга была тем, чем она должна была стать по замыслу царского правительства. Она действительно была „самым тяжелым лишением свободы“,—как писали в своих отчетах о ней орловские тюремщики.

Автор книги за участие в севастопольском восстании 1905 г. сам многие годы подвергался репрессиям в Орловском централе. Он сам испытал кошмарный режим в этом каменном мешке. Тем большую ценность имеет книга.

Книга красочно рассказывает о „конституции“ тюрьмы и ее режиме. Правдиво, красочно изображены „держиморды“ эпохи реакции, сотни палачей, сотрудников Пуришкевичей, Марковых 2-х, Гучковых и т. д.

Ярко показана их звериная ненависть к борцам революции, к пролетариату, к той исторической силе, представители которой, будучи скованы цепями, истязаемые и физически уничтожаемые, смело шли в бой с самодержавием и капитализмом.

Книга показывает читателю образы революционеров-большевиков, чью волю к непримиримой борьбе с царизмом не сломили

ни Шлиссельбургская, ни Орловская временно-каторжная тюрьма—эта втора?—после Сахалинской—каторга.

Образцом такого героизма и преданности делу революции является Ф. Э. Дзержинский и многие другие большевики-ленинцы, томившиеся в Орловском централе.

Автор в ряде мест показывает борьбу большевиков с каторжным режимом и произволом в Орловском централе, но надо было бы еще ярче, красочнее и сильнее дать их образы, как непримиримых революционеров, энергию и силу которых никакие тюрьмы и репрессии не сломили и не могли сломить. Следовало бы связать их борьбу с общей борьбой партии, как авангарда рабочего класса, показать их роль в общей борьбе партии и пролетариата. В недостаточности этого показа основной недочет книги.

Тем не менее, большим достоинством книги является то, что она рисует подлинную картину борьбы революционеров с произволом, царившим на каторге, их героизм, смелость и упорство в повседневных схватках с тюремными громилами. Политкаторжане прекрасно знали, что малейший протест против произвола над ними крайне опасен для их жизни. И зная это, протестуют, борются вплоть до бунтов. Книга И. И. Генкина ярко показывает эту борьбу, поэтому читается она с захватывающим, неослабевающим интересом.

К особым достоинствам книги необходимо отнести ее удачную литературную форму.

Орловская каторга, вместе с царским режимом и капитализмом сметена пролетарской революцией 1917 года.

На месте старой каторжной России строится свободное бесклассовое социалистическое общество—первое в мире, первое в истории человечества.

Эта всемирно историческая победа достигнута пролетариатом СССР под руководством партии Ленина и Сталина в жесточайших боях с капитализмом и его правой и „левой“ агентурой в рядах партии.

Победоносный пролетариат, строящий социализм, не забудет тех борцов, которые отдали жизнь за дело пролетарской революции.



Орловский централ. Общий вид.

# „КОНСТИТУЦИЯ" ОРЛОВСКОГО ЦЕНТРАЛА.

## 1. Возникновение каторжного режима.

В 1907 г., с ростом реакции в стране ухудшалось и положение политзаключенных в тюрьмах. Об'единившиеся крупные помещики и крупные фабриканты, в лице руководимого Столыпиным правительства, спешно „спасали Россию", т. е. ухудшали избирательные законы в Государственную думу, громили профессиональные и прочие организации рабочего класса, арестовывали революционных крестьян, раздували национальную вражду, насыщали школу затхлым духом квасного патриотизма...

В тюрьмах шла расправа с политическими заключенными.

Деятельность Главного тюремного управления с каждым днем начала принимать все более и более мстительный характер, а местное тюремное начальство спешило взять реванш за вынужденные обстоятельствами (1905-1907 гг.) послабления.

По всей России действовали военные и военно-полевые суды, быстро рос лес виселиц, еще быстрее наполнялись каторжные тюрьмы. Если в 1905 г. число осужденных в каторгу доходило до 6 150 человек, то в 1906 г. мы имеем уже 7 800 каторжан, в 1907 г.—9 720 ч., в 1908 г.—16 500 ч., в 1909 г.—23 100 ч., в 1910 г.—28 450 ч., в 1913 г.—33 000 ч.

Старые каторжные тюрьмы в Сибири—Тобольская, Александровская и группа тюрем в Нерчинске—быстро заполнились.

Строить новые каторжные остроги было некогда. Тогда наспех стали приспосабливать для этого так называемые исправительные арестантские роты, имевшиеся спокон века почти во всех губернских городах Европейской России. Отсюда и происхождение Орловского, Псковского, Ярославского, Владимирского, Саратовского, Вологодского, Херсонского, Харьковского, Николаевского, Пермского, Московского („Бутырки") каторжных централов. С начала 1907 г. начал заполняться и Шлиссельбургский централ, совершенно пустововаший после того как (в связи с октябрьской амнистией 1905 г.) из него ушли последние народовольцы и эсеры-террористы.

Выполняя совершенно определенный „социальный заказ", министерство юстиции в лице Щегловитовых, Максимовских и Курловых, начало разрабатывать новые правила для каторжан. Вводились всевозможные ограничения в области питания, сношений между заключенными и легальной связи их с волей,—ограничения эти определенно били на то, чтобы как можно сильнее ущемить именно политических каторжан. Об этом говорит уже один тот факт, что то самое Главное тюремное управление, которое на международных конгрессах и выставках франтило



своим европеизмом и либерализмом, у себя дома со смаком разрабатывало правила наказания розгами, приказывало строго следить за тем, чтобы срочные каторжане, находясь в камерах, носили ножные кандалы, а бессрочные—и ножные и ручные цепи.

Но и всего этого было мало.

Реакции, чувствовавшей себя победительницей, понадобилось иметь под рукой такой каторжный централ, который являлся бы пугалом для одних и образцом для других. Выбор остановился на Орловских исправительных ротах. Насадителями нового наиболее террористического, наиболее мстительного и карательного режима были назначены—тюремным инспектором Эрвин фон-Кубе, а начальником Николай Федорович Мацевич.

Целая плеяда помощников и старших надзирателей должна была проводить предначертания, которые членораздельно или в виде намеков исходили сверху.

Столыпин или Щегловитов задумал, Максимовский или Курлов изложил их думы на бумаге, фон-Кубе и Мацевич претворяли их в жизнь.

Сказанное находит себе полное подтверждение в одной докладной записке от 16 февраля 1913 г., № 2172, подписанной

**„Приемка" новой партии каторжан.**



орловским губернатором Андриевским, и как бы подводящей итоги тому, что удалось осуществить Орловскому централу.

„До весны 1907 г. Орловское исправительное арестантское отделение, наполненное политическими арестантами, кр йне серьезными по совершенным ими преступлениям, являя о собой пример полной распущенности и безначалия. Самые основные и коренные требования инструкции и тюремного режима совер шенно игнорировались, камеры были настежь раскрыты, все арестанты имели доступ на внутренние галлереи, имели постоянное и полное общение между собою, собирались группами и т. д. К их услугам были всевозможные игры и развлечения (шахматы, музыкальные инструменты и т. д.) и даже фотографические аппараты, так что даже посетительницы могли сниматься в одной группе с арестантами".

Действительно, режим в Орловском исправительном отделении был тогда довольно свободный. Бывали даже побеги. Так, в одном документе мы нашли сообщение о том, что в ночь на 19 июля 1906 г. бежали, перепилив решетку, политические И. Бибанов, Е. Голосовкер, Н. Коган и Н. Свинчук. Бежавшие так и остались неразысканными.

Дальше в своем докладе губернатор Андриевский, не страдающий очевидно избытком ума, пишет:

„Достойно внимания то, что во время, как раз совпадавшее с окончанием так наз. освободительного движения, когда, казалось, не было предела возмутительным требованиям деятелей этого движения, не было жалоб на порядки Орловского исправительного арестантского отделения".

Но вот 2 апреля 1907 г. в Орел командируется в качестве губернского тюремного инспектора коллежский ассесор фон-Кубе. Через год после его назначения арестантские роты преобразовываются во „Временную каторжную тюрьму".

„С этого времени,—продолжает в своем докладе губернатор,—стали незыблемо и неуклонно применяться в полной мере все требования устава. В первое время много энергии уходило на преобразование тюремного дела по губернии, на заботы по развитию арестантского труда. Это отвлекло от наблюдения за применением тюремного режима. Зато в течение последующего времени все внимание тюремной инспекции в полной мере обращено было на точное исполнение тюремной инструкции и тюремного устава.

Требования эти по своему существу не могут быть выполняемы арестантами без некоторого скрытого, глухого протеста, так как в этих требованиях зиждется весь смысл, все значение карательного режима.

Подтверждаю Вашему Превосходительству, что политические арестанты, имея в своей среде много интеллигентных элементов, конечно, не могут примириться с требованиями тюремного режима, оскорбляющего, по их мнению(!), человеческое достоинство. Зато уголовные арестанты беспрекословно подчиняются этому режиму, усматривая в нем непременную и необходимую принадлежность внутреннего порядка тюрьмы. Политические арестанты таят в себе всегда скрытое чувство озлобления, готовое перейти в открытый протест. Незначительные уступки, незначительная льгота, предоставленные хотя бы временно, незамедлительно сделаются достоянием всех обитателей тюрьмы и в состоя-

нии вызвать серьезные беспорядки, и только постоянным и настоятельным применением тюремного режима и инструкции об'ясняется то, что в Орловской тюрьме, имеющей в числе своих арестантов много видных представителей недавнего освободительного движения, не было совершенно беспорядков и возмущений.

Если бы во всех тюрьмах Империи тюремный режим был бы совершенно единообразен и заключенные знали бы, что порядок, установленный в тюрьме, совершенно одинаков с порядком других тюрем, то кампания газет левого направления лишена была бы того настойчивого характера, которым она отличается теперь“.

В своем восторженном песнопении его превосходительство чего-то не договаривает. Именно, он не решался сказать, что в силу своеобразного разделения труда между различными каторжными централами, Орловский централ усвоил себе определенную систему воздействия на „злую волю“ неисправимых каторжан. Если в Шлиссельбурге, например, преобладало наказание карцером, если в Псковском централе наказывали в большинстве случаев розгами, то в Орловской штрафной тюрьме преобладала кулачная расправа.

Излагая перед надзирателями, с позволения сказать, свою „платформу“, фон-Кубе так говорил им:

— Арестантов не распускать. В морду их... Бей в хвост и загривок... В случае чего я отвечаю...

В Орловском централе расправа эта практиковалась и в коллективном и в индивидуальном порядке. Наиболее организованным избиение получалось тогда, когда приходили большие этапы, например из Екатеринослава, из Новороссийска, из Киева, из Ташкента, из Шлиссельбурга.

... Вот отворяют ворота и пришедшие с этапа гуськом подходят к конторе. Оттуда сразу же выходят несколько помощников. На дворе куча надзирателей.

— Смирно, шапки долой!—раздается команда. Уголовные моментально, а политики несколько медленнее скидывают блинообразные и засаленные головные уборы. Дежурный помощник кричит: „здорово!“ Этапные уже достаточно просвещены на счет орловских порядков и поэтому отвечают ему, хотя и вяло, но так, как „полагается“.

— Вы что же это тихо отвечаете? Громче нужно, так и так вашу...—ругается господин помощник.

Все стоят выстроенные в шеренгу и молчат. Начинается выкликание каждого в отдельности. Следует вопрос:

— Ты кто, уголовный или политический?

Узнав, что данный каторжанин политический, помощник начальника моментально свирепеет и кричит:

— А, так и так твою!... Свободы захотел! Против царя пошел!... Власти не признаешь!. Надзиратели, сюда! Дайте-ка ему!..

Подскакивают стоявшие немного поодаль надзиратели и начинают мять и бить каждого из политкаторжан.

— А ты за что осужден?—продолжает дежурный свои расспросы.

— За экспроприацию, хотя я вовсе не....

— Что там за „хотя"!... Грабить вздумал, чужое добро похищать? „Экс-про-при-атор"!... Собака!... Надзиратели, дайте ему тоже!..

За политическими следуют уголовные. Их даже не спрашивают, за что именно они осуждены, а раскрывая им ворот рубашки, ищут крест на шее, если креста нет, то бьют, приговаривая:

— Православный, а креста не носишь.... Так твою...

Если же крест имеется, то тоже колотят, только со словами:

— Крест носишь, а против закона пошел!...

Когда весь или почти весь этап получил первое крещение, раздается новая команда:

— Отвести всех в главный корпус... На такое-то отделение.

Там наверху происходит главное действо. По обеим сторонам вдоль главного коридора стоят уже наготове надзиратели и держат что-то в руках. По команде раздеться, разумеется, для обыска, каждый совершенно голый идет в другой конец коридора, и тут-то с обеих сторон начинают бить его толстыми резинами, да так, что кожа вздувается. Падающих топчут ногами. Как ошалелые, избитые добираются до вещей, быстро начинают одеваться, тянут рубаху на ноги, брюки на руки. Люди совсем растерялись и не видят, что делают.

В камеры их загоняют, как собак, с криками, руганью и пинками. У всех спины слуплены.

Кое-как прошла поверка. Все торопятся устроиться кое-как на брезентовых койках, но невозможно: спина ноет, бок болит, всюду ссадины.

Только улеглись, как вдруг входит много надзирателей во главе с помощниками.

— Кто из вас за террор сидит?—спрашивает помощник Батурин.

— А кто за принадлежность к партии?—задает вопрос другой помощник—граф Сонгайло.

— А кто из вас монеты, монеты делал?—спрашивает Анников, ощупывая всех глазами. Подойдя к какому-то пожилому арестанту, он кричит:

— Захарка, взять его!

Подбегает старший, Захар Козленко, хватает его за шиворот, бьет в лицо и швыряет к остальным надзирателям. Те подхватывают его и тащат куда-то вон из камеры.

На другой день один больной не встал на утреннюю поверку. Его первым делом избили, а потом отправили в больницу. Затем

оказалось, что в камере есть ещё один больной. Ему тоже дали пару оплеух, но уже за то, что он сам не заявил о своем нездоровьи.

После раздачи кипятку в камеру пришел фельдшер. Спрашивает: чем больны. Все смотрят на пол, в сторону и молчат. Да и как, в самом деле, сказать ему, что спины вспухли от ударов резиной.

— Я знаю, знаю, что у вас болит,—говорит тогда фельдшер, перемигиваясь со старшим.—Я вам дам мазь такую, и вы будете один другого растирать. Кожа тогда и засохнет. Только сперва гной будет, так вы не бойтесь...

По заведенному в Орле ритуалу пощечины доставались заключенным каждый день. Выходят в коридор за вещами—бьют, вызывают для обязательной стрижки—тоже попадает в загривок. Не было дня, чтобы в камеру не заходили два-три помощника с десятком надзирателей. Кобуры расстегнуты, лица злые. Достаточно малейшего предлога, чтобы у них зачесались руки, а как они начнут потасовку, так только и знай, что бока подставляй. Раскидают по полу, словно щепки,—всюду стоны и крики.

Потом ввели моду: ежедневно обыск. Разувают, раздевают догола, ищут всюду, а что ищут, они и сами толком не знают. Осматривают брюки и бушлаты, а если у кого-нибудь порвалось что или пуговица болтается, то так отлупят, что долго не забудешь. Раз во время такого обыска нашли какую-то жестяную полоску, которой можно резать хлеб или селедку. Помощник Дурнев спрашивает, чья она, но никто не признается. Тогда он кричит:

— Всех их, всех их, сволочей, проучить надо!

Нервы напряглись до того, что, казалось, вот вот лопнут. И, действительно, многие с ума сходили, делались настоящими маниаками. Раз на поверке некто Чекнов заявляет, будто арестанты хотят бросить его в клозет и утопить... Козленко спрашивает: „кто, кто?“—и тот показывает на всех, кто попался ему на глаза. Человек пять тут же было избито, потом их выпороли и бросили в темный карцер. Когда же выяснилось, что все это один вздор, надзиратели принялись за самого Чекнова. Его перевели в одиночку и изрядно поколотили. Вскоре он умер, но из тех пятерых двое,—Аронов и Пивоваров—тоже вскоре умерли.

Вообще жизнь в тюрьме представляла тогда сплошную муку. Если, например, на одной скамейке сидело три-четыре человека, то говорить можно было только шопотом. Когда надзиратель открывал дверной глазок, то всем 30-40 человекам надо было подниматься с места и становиться во фронт, даже во время обеда.

Из помощников больше всех издевался Анников. Когда-то он служил простым писарем при полиции, и теперь звание „его высокоблагородие“ разнуздало его и без того дикую фантазию. Он

любил, чтобы арестанты, выходящие на прогулку, провожали его глазами и смотрели ему прямо в зрачки. Если не успеешь или не захочешь сделать этого, он тут же залепит пощечину, свалит шашкой и начнет ругаться. Или на прогулке, бывало, командует:

— Бе-е-гом... Собака собаку догоняй!. Собака собаке равняйсь!—и тогда всем приходилось бежать по кругу что есть силы.

В другой раз этот же Анников под аккомпанимент обычной прогулочной команды „раз, два, три, четыре... левой... левой...“ бьет по очереди в физиономию всякого, кто проходит мимо него.

Питание при Мацевиче было хуже скверного. Зимой в камерах был ужасный холод. Дровами заведывал помощник граф Сонгайло, ухитрявшийся молодецки надувать комиссию из губернского правления, которая приходила с ревизией.

В баню пускали один раз в две недели, но времени на мытье давали так мало, что редко-редко израсходуешь больше одной-двух ряжек воды. Не успеешь еще смыть грязь, как раздается оглушительная команда: „Выходи... Выходи-и!“... и ты, как угорелый, часто с мылом на теле, бежишь одеваться.

Наволочек к соломенным подушкам тогда не полагалось, а полотенца и портянки никогда не менялись. Строго требовались „чистота и порядок“, за малейшую пылинку на стене били кулаками, но действительной чистоты и порядка было очень мало в Орловском централе.

Утром встанешь грязный, неумытый, голова трещит, во рту засохшая от пыли и духоты слюна, с нетерпением ждешь, чтобы, наконец, выпустили на оправку, а тут тебя заставляют громко во весь голос петь молитву „Отче наш“.

Вообще при фон Кубе и Мацевиче строго смотрели за соблюдением правил веры православной: за отказ от говения, исповеди и т. п. полагалась кулачная расправа (случай с большевиком С. Часовенным). Находились каторжане, которые, чтобы задобрить надзирателей, покупали в пользу церкви свечи. Иной раз дядька, по обязанности заботившийся о благолепии храма божия, сам обходил арестантов и требовал денег на свечки.

Каждый из арестантов понятно, старался как можно реже попадаться на глаза начальству и, когда надзиратели выгоняли их в церковь, одни (уголовные) посылали вместо себя других, отдавая в компенсацию чай и сахар, а некоторые (среди них были и политики) отговаривались принадлежностью к сектантам, хотя на самом деле они числились „православными“.

— Ты чего в церковь не идешь, так и так твою?.. начнет кричать Захарка.

— Я сектант, господин старший: штундист.

— „Штундист“... Гм... Ну, а ты!—подходит он к другому.

— Я еврей, господин старший.

— Ишь, жидюга, погибели на тебя нет... Ну, а ты?—обращается он к третьему, большому насмешнику.

— Я тоже сектант: вегетарианец, господин старший.

— Что ж это, так вашу мать,—свирепеет Козленко, отпуская стоящим ближе к нему пощечины,—куда же это православные девались!.. Сговорились, что ли!.. Скоро обедня, кого же я в церковь пошлю?.. Марш! Выходи десять человек, и без никаких!.. Живо, сволочи!..

## 2. Будни.

Для того, чтобы исчерпывающе описать жизнь каторжан в Орловском централе, потребовались бы многие сотни страниц. Но для нашей цели достаточно будет привести описания хотя бы одного, но типичного дня. Пусть читатель представит себе, что он находится в одиночном корпусе. Летом ровно в пять и три четверти утра, а зимой на час позже, раздаются четыре редких удара в колокол,—сигнал, означающий приказание встать. Не успели вы еще соскочить с койки, как слышите покрикивания надзирателя, обходящего дверные глазки:

**Орловский централ. Общая камера.**



— Эй, сво-о-лочь, чего растягиваешься!.. Звонок слышал?. Чего же не встаешь, так и так твою!.. Холера!..

Прошла и утренняя поверка, и дежурные дядьки стали выпускать арестантов на оправку. Вы наскоро прибираете камеру и начинаете прислушиваться к тому, что делается в коридоре. Там царит ужасный шум и гомон. Звон от кандалов, хлопанье с треском открываемых и закрываемых дверей, матерная брань и похабные реплики надзирателей, стоны каторжан, избиваемых за то, что не так скоро умылся, или за то, что не сразу попал в свою одиночку,—все это сливается в адскую какофонию. Одновременно с отправкой производится и раздача хлеба и кипятку, и это еще больше усиливает суматоху.

С шумом открывается дверь вашей камеры, и отделенный надзиратель Богомолов кричит своим хриповатым голосом:

— Выходи-и...

Вы быстро хватаете парашку и выскакиваете в коридор Там вас уже ждут три человека.

— Шагом м-марш! Живо! Ну!..—кричит Богомолов, и все четверо что есть силы устремляются к клозету, стараясь удерживать в равновесии полные парашки.

— Когда тебя выпустят на оправку первым...—начинает что-то говорить шагающий за вами отделенный. Чтобы лучше расслышать его слова, вы чуть-чуть поворачиваете назад голову, но тут же несколько сильных ударов связкой ключей по шее заставляют вас нагнуться вперед.

— Ты чего отстаешь!—крикнул Богомолов, ударяя ключами по спине.—Ты глухой что ли, так и так твою мать!

Вбежав в уборную, двое немедленно опоражнивают посуду, а двое других подскакивают к умывальнику. Какой-то старик с интеллигентным лицом, в кандалах и со следами от очков на переносице и возле ушей [1]), не мог сразу нащупать стержень от умывального крана. Богомолов, стоящий на пороге уборной и торопящий вас своими понуканиями, с размаху ударил старика ключами в спину.

— Куда смотришь!—кричит он.—Не видишь где кран. Мойся, сволочь .. Чтобы живо мне!..

Не успели вы еще провести мокрой рукой по лицу, как слышите новую команду:

— Кончай!.. Бросай!.. Шагом марш!.. Бегом!..

Все четверо схватывают парашки и бегут назад в свои одиночки. Об употреблении полотенца и мыла—и говорить нечего.

---

[1]) В Орле очки у вновь приходящих отбирались; чтобы получить их обратно из цейхгауза, нужно было заручиться специальным разрешением тюремного врача.

Не только новички, которым в течение первого месяца воспрещается выписывать что-либо на собственные деньги (это только в Орле так было), но и старожилы не могли в то время думать о такой роскоши, как пользование мылом при утренней оправке,—до того ничтожно было время, которое давалось на уборку.

В камере вас ожидает уже кипяток. Одиночный корпус построен был по последнему слову тюремной техники, но кипяток приносился туда из кухни в тех же ушатах, что и щи с кашей, и раздавался по камерам в медных кувшинчиках, так что скоро остывал. К тому же кухонные котлы, должно быть, очень редко чистились, и потому кипяток всегда был мутный от разваренной накипи.

Часов в одиннадцать приносят обед—жидкую водичку с капустой и двумя маленькими квадратиками мяса, вырезанными из бычьего уха или губы. Каша давалась каждый день, но в количестве, достаточном, чтобы утолить голод не взрослого человека, а взрослого воробья.

По средам и пятницам обед был постный, полагалась рыба, но от нее в бачке оставался один лишь дух, а материя, согласно законам превращения вещества, должно быть, оседала в широких карманах начальства. Ужин—белая или черная кашица из крупы—отпускался только устава ради,—питательное значение его немного выше нуля. Два раза в неделю выдавался квас.

Зато в Орловском централе можно было делать выписку в размере гораздо большем, чем на те 4 руб. 20 коп., которые Главное тюремное управление назначило максимальной нормой. Сверх этого можно было выписывать еще масло и молоко. Эти два обстоятельства, почти неизвестные во многих каторжных тюрьмах с сравнительно сносными порядками, как-то не гармонировали с общим духом централа. Справедливости и беспристрастия ради необходимо упомянуть еще об одном приятном обстоятельстве: вопреки ясному постановлению Главного тюремного управления, у нас в Орле письма можно было писать не один раз в месяц, а раз в две недели,—льгота, почти неизвестная в других централах.

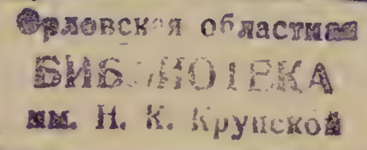
После обеда вдруг открывается дверь, надзиратель кричит: „Сми-и-рно...“—и на пороге появляется все тот же отделенный Богомолов. Вы становитесь посредине одиночки. Богомолов быстрым взглядом осматривает всю камеру и кричит:

— Здорово!

Вы отвечаете „как следует“.

Начинается осмотр: отделенный открывает стульчак парашки, проводит пальцем по стене, подходит к полке,—везде ни пылинки. Рванул он койку, но и там одеяло сложено „как полагается“, т. е. не вдоль, а поперек. По правде сказать, вышло это у вас совершенно случайно, иначе вам досталось бы: многих товарищей, не





обративших внимания на это обстоятельство, отделенный угощал кулаками,—припоминаю, например, Я. Д. Янсона, которого он из бил именно за это. Осмотрев ваш бушлат, лишь вчера выданный из цейхгауза, Богомолов говорит, указывая на воротник:

— Тут крючок должен быть... Тебе сейчас дадут пуговицу и иголку и ты пришьешь...

Взяв в руки медные бачок, кувшин и кружку и убедившись, что они вычищены достаточно старательно, Богомолов снова подходит к койке, чтоб посмотреть, как вы сложили одеяло, но, вспомнив, что он уже сделал это, с досадой захлопнул ее: выходит, что у вас все в порядке. Но как же уйти, не напомнив, где именно вы находитесь.

— Тебя за что сюда переслали?—вдруг спрашивает он. На этот вопрос вы ему ответили уже вчера.

— Не знаю... сам не знаю,—говорите вы. Но тут у вас зазвенело в ушах и в глазах потемнело. Сильным ударом в лицо Богомолов сшиб вас с места.

— Это что за „не знаю"... „Не могу знать, господин отделенный",—вот как отвечать надо, так и так твою... Стань на место.

Сказав это, он еще раз ударяет вас и выходит.

Как-то заходит старший Калафуто, а вслед за ним и Богомолов. В руках у Калафуто ваш арестанский билет.

— Здорово,—кричит он, подходя к вам почти вплотную.

Вы отвечаете „как следует".

— Тихо отвечаешь... Громче надо... Ну, здорово!

Вы отвечаете еще раз, только громче.

— Ты—политический? За что осужден? На сколько? А тебе уже говорили, как отвечать высшему начальству и насчет чистоты и одежи?

Не успеваете вы ответить Калафуто, как стоявший до сих пор молча, Богомолов начинает дергать вас за шею и грудь, щупать воротник бушлата.

— А крючок почему не пришил сюда, а? Ведь я говорил тебе, что пришить надо.—С этими словами он ударяет вас в лицо.

— Да я ожидал, что мне дадут крючок и иголку,—пытаетесь вы возразить.

— Ожидал, а напомнить мне не мог. Ты что за барин такой, так и так твою...

Вы молчите, думая, авось этим кончится.

— Ты чего же молчишь, а? Я кому говорю?!

— Да я слышу.

— Не „слышу", а „слушаюсь, господин отделенный",—вот как отвечать надо.—С этими словами он снова ударяет вас.

— Ну, „слушаюсь",—говорите вы, желая от него скорее отделаться.

— Ты что же это все: „слушаюсь“, „слушаюсь“, а приказаний не исполняешь... Двадцать раз тебе говорить надо. Ты один здесь у меня...

Тут Богомолов ударяет вас в грудь, да с такой силой, что вы отлетаете в угол.

— Куда пошел?!.. Встань на место... Вот сюда,—кричит он, толкая вас в шею.

Все это происходит на глазах у Калафуто, равнодушно смотрящего на действия отделенного.

— Ну, ладно, оставьте его... Дайте ему крючок и нитки, пусть зашьет, — сказал, наконец, старший, поворачиваясь к выходу. — Да смотри, чтобы пол был почище, — бросил он, становясь на порог.

При напоминании о поле, Богомолов, который вчера не сказал по этому поводу ни слова, встрепенулся. В камере, хотя и было очень чисто, но при всем желании вы не могли придать изрытому и исковерканному асфальту блестящий вид.

— Я тебе говорил, чтобы пол блестел как зеркало! — снова закричал отделенный. — Это что за пол?!.. Возьми суконку!.. Три!..

Вы схватываете из стульчака парашки пару суконок и, не снимая широкого, неуклюжего бушлата, садитесь на корточки и изо всех сил начинаете тереть асфальт. Но удар ключами по спине неожиданно прерывает вашу работу.

— Не на корточках, а на коленях надо! — кричит Богомолов.

Отпихнув вас ударом ноги, он сам становится на колени и принимается натирать суконкой место под приподнятой койкой: по этому месту никто не ходит, асфальт был там почти не тронут, и у него вскоре действительно получился матовый блеск.

— Вот как надо, видишь! — произнес он, вставая и швыряя вам в лицо пропитанную керосином суконку. — Я зайду через десять минут, и если весь пол не будет у тебя, как зеркало, я тебе морду расквашу!..

Оставшись один, вы скидываете бушлат и принимаетесь за дело. От постоянной ходьбы асфальтовый пол сделался корявым, и придать ему блеск было почти невозможно. Весь потный и мокрый, с ощущением боли в спине, шее и в ушах, вы прислоняетесь к койке.

„Что же будет дальше, — думаете вы. — Неужели каждый день терпеть подобные визиты. Да и как предупредить это? Кажется, и так уже согнулся до последней возможности... Или пойти на риск и на удар ответить ударом? Или об‘явить голодовку? Или в виде протеста сделать что-нибудь с собою? Повеситься, облить себя керосином“... — лихорадочно шевелится у вас в голове. На душе гадко и противно.

— „Эх, — приходит вам в голову вдруг с горечью, — надо было с самого же начала достойно ответить ударом на удар... Но

вот вопрос: как ведут себя здесь остальные товарищи? Ведь здесь находятся боевики, которые на воле участвовали в предприятиях, изумительных по смелости и отваге; неужели и они мирятся с таким режимом?"

Подобные мысли беспокойно путались в воспаленном мозгу. Но нужно же найти какой-нибудь выход. Не сидеть же молча! Надо подорвать этот режим в корне! Надо придумать что нибудь такое, что изменило бы положение всей тысячи каторжан, размещенных в Орловском централе. Надо действовать коллективно. По одиночке всех просто передушат...

Мысли в этом роде обгоняют одна другую. Мало-по-малу положение начинало становиться ясным. В самом деле: об'явить голодовку или покончить с собой всегда успеешь, — успокаиваете вы себя.

# 3. Прогулка.

Пока что необходимо ориентироваться, завязать сношения с остальными, хотя бы с соседями. Слева, в 25-й одиночке, никого не было, а в 23 й, куда вы попробовали стучать, никто не ответил: должно быть, боится [1]).

Остается, значит, поговорить с публикой на прогулке... Авось найдется достаточно охотников выступить с протестом...

Но отчего это не выпускают вас на прогулку?!. Вот уже три дня, как вы торчите в одиночке. Надо спросить дежурного, когда он откроет форточку при раздаче кипятка.

Каково же ваше отчаяние, когда вы узнаете, что по здешним правилам все новоприбывшие в течение целого месяца совершенно не выпускаются на двор... Целый месяц... Целый месяц вы один, не увидите никого из остальных каторжан, не сумеете ни с кем поговорить и наметить себе линию поведения...

Ловко же придумали, чорт побери. Сразу оглушают человека и, чтобы еще больше обессилить его, истощить энергию, притупить чувство протеста, держат его столько времени изолированным...

„А вот опять кто-то кричит, — говорите вы себе вслух, приближаясь к дверям. — Надзиратель похабно ругается... Опять... Упал на пол, гремя цепями... Но как долго бьют его"... „Бух, бух, бух..." „Ай-ай, караул!.. За что? Товарищи!.. Ой, ой!.. Помогите!"..— несется из какой-то одиночки, недалеко от вашей камеры. Крики

[1]) Перестукивание, бывшее обычным и узаконенным способом сношений в других тюрьмах, здесь строго преследовалось Так, тот же Богомолов избил за это рабочего, с.-р. Матлина: схватив его за голову, он бил ею по стенке до тех пор, пока голова не вспухла; семидневный карцер последовал, разумеется, сам собою. (Матлин, ставший потом большевиком, умер уже на воле от чахотки).

эти ужасно расстраивают. Стоишь и чувствуешь, как все в тебе трепещет и кипит. Сердце вдруг начинает учащенно биться, в висках стучит, а голова испытывает невероятные боли.

В течение месяца прогулка не полагается вам как вновь прибывшему. Однако не на много лучше чувствовали себя и старожилы. Регулярной и обязательной прогулки у нас не было. Главную роль играло тут усмотрение старших и отделенных надзирателей. Даже бессрочные, которым свежий воздух нужен был больше, чем кому бы то ни было, выпускались не больше двух-трех раз в неделю. Бывали периоды, когда мы не оставляли камер дней десять—двенадцать подряд То отделенному некогда возиться с таким пустячным делом, то ему кажется, что собирается дождь, то скоро должна начаться поверка.

На прогулку вы возлагали много надежд. Вам до тошноты прискучило одиночество, хотелось пройтись на свежем воздухе, а главное, вы рассчитывали поговорить кое с кем и ориентироваться в положении. Велика же ваша радость, когда однажды—дней через 27 после прибытия в Орел—открывается дверь вашей одиночки и надзиратель кричит:

— Бери шапку!.. Гони на-низ!.. Живо!..

Внизу у левой стены стояла уже партия каторжан, выстроившихся в затылок по два человека. Стояли они, не шелохнувшись, вытянув руки по швам и упорно глядя перед собою в одну точку. Стараясь не быть замеченным, вы осторожно озираетесь по сторонам, приглядываясь к арестантам и высматривая кого-нибудь из знакомых.

Давно найдено, что каждая историческая эпоха и каждая страна создает особый тип людей, отличающихся друг от друга даже по внешнему облику и по манерам. Точно так же и каждая тюрьма вырабатывает свой особый тип арестанта. Там, где порядки хоть сколько-нибудь похожи на человеческие, там и арестанты похожи на людей. В Орле же на всех лицах видишь выражение подавленности, отпечаток бесправности положения и безнадежности протеста. Не только все уголовные, но и многие политические, люди, много раз сидевшие в тюрьме, были здесь как-то принижены и запуганы.

Став кому то в затылок, вы приглядываетесь к тому, что делалось кругом. Отделенный Богомолов важно расхаживает по коридору и отпускает пощечины тому или другому,—поводов для этого искать долго не приходится: тот не так держит руки по швам, другой, спускаясь по лестнице, не придерживает кандалов, третий на какой-то неожиданный вопрос взял да и выпалил „да“ вместо „так точно“.

Когда набралось вас человек сорок, отделенный заговорил своим хриповатым голосом:

— На прогулке ходить по два человека... Расстояние—на протянутую руку... Пара от пары—на три шага... Без разговоров!.. Слушайся команды!..

Держа руки в передних карманах брюк и величественно покачивая торсом, Богомолов гаркнул:

— На-а-кройсь!..

Все сразу надели шапки. Выждав паузу, он снова кричит:

— На ле-е-во о!..

Все сразу и в такт позванивая кандалами, поворачивают налево.

— Шэээгооом... — тянет господин отделенный, зорко оглядывая всю линию, и вдруг сразу выпаливает: — ммерш!!

По команде „шагом марш“ — все поворачивают к выходу.

— Раз, два, три, четыре!.. Левой, левой!.. Не отставать!.. Ногу держи!.. Сволочь!.. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре!... — кричит надзиратель, когда все проходят по длинному коридору.

Вот вы уже на дворе. Посредине его имеется убитый щебнем круг, по которому, собственно, и совершается прогулка. Почти у самой стены, отделяющей одиночный корпус от общего, устроена высокая башня, на которой стоит надзиратель с ружьем, тут же имеется будка, возле которой расхаживает другой надзиратель с винтовкой. Кроме отделенного или старшего, прогулку сопровождает еще несколько дядек.

— Первые ряды на месте! — раздается новая команда, как только задняя пара вышла из коридора. — Дистанция! Не налезай!... Помни расстояние!.. Шээгом ммерш!..

Начинается прогулка. Надзиратели все время следят за тем, чтобы арестанты ходили в ногу и в такт беспрерывно раздающейся команде „раз, два, три, четыре... левой, левой...“ Многие каторжане из числа недавно прибывших до того уже встревожены, а ножные кандалы до того затрудняют движение, что они не поспевают за командой и часто сбиваются. Особенно плохо старикам-инонационалам, в большом количестве прибывающим к нам с Кавказа и Туркестана. Руки они держат как-то смешно, прижимая их вплотную к бокам и растопыривая пальцы, русского языка не знают и то и дело путают команду. За это тут же на месте следует немедленная расправа кулаками или связкой дверных ключей.

— Ты чего ногой болтаешь?.. Ходи как следует!.. Короче шаг!.. Прямей держи!.. Не налезай!.. Раз, два, три, четыре! Левой, левой!..

Все ходят напряженные, стараясь не отставать и в то же время держать дистанцию, то меняют ногу, то задерживают шаг. Вот кто-то спутал такт и за это сейчас же получает воздаяние. Шагают все так, шагают, вдруг раздается новая команда:

— Круго-ом!..

Тут наступило настоящее смятение. Пара каторжан, шедшая впереди, и некоторые из середины повернули кругом назад и столкнулись с другими, продолжавшими итти вперед. Не понимая что бы это значило, бледные и испуганные, боясь обратить на себя внимание надзирателя и в то же время не зная, что им делать, они отошли в сторону. Ряды расстроились, прогулка приостановилась.

— Ах, сукины сыны!.. — ругается во-всю „господин отделенный“... — Сволочи!... Бродяги! . Не знаете как ходить!..

Уснащая свою речь отборной „словесностью“, он кричит на весь двор:

— Слушайся команды!.. Когда я говорю „кругом“, — это значит готовься и жди, а когда я скажу „марш“, — тогда только поворачивайся назад и ходи дальше вот так... Стройся заново!.. Становись каждый, где стоял! Дистанция, так вашу мать!.. Ну, шээгоом... ммэрш! Раз, два, три, четыре... Левой, левой!..

Дав сделать круг, он крикнул:

— Кру-у-у-гоом... (все продолжают ходить) — ммэрш!!

Тут, каждый как умел, повернулся, стоя на одной ноге, назад.

У нескольких человек что-то не ладилось. Богомолов выхватил их за шиворот из общих рядов и поставил отдельно около

**Прогулка по кругу (Бутырская тюрьма).**



входных дверей, поручив другому надзирателю подучить их. Среди них как-то очутился и один из лучших представителей политической каторги, вдохновитель многих выступлений против тюремщиков, „максималист“ (ныне коммунист) Александр Поддубовский. Бледный и измученный, с вытянутой вперед шеей и выпученными в очках глазами, он еле-еле подавлял в себе негодование и ярость, стыд и смущение.

Надзиратель подходил по очереди к каждому из них и, дергая за левую ногу, словно имеет дело с лошадьми, топал ею по земле и все приговаривал:

— Левой, левой, левой, так вашу!.. Левой, сволочи, левой, левой!

На эту шагистику обращалось самое строгое внимание. Ходили под команду не только во время прогулки, но даже, когда водили в баню, даже когда носили дрова в кочегарку, даже когда по несколько человек таскали огромные десятипудовые брезенты, наполненные целой горой сработанных соломенных колпаков. Ни кандалы на ногах, ни грязь и слякоть, ни глубокий снег—ничто не избавляло каторжан от этой церемонии.

Промучившись на прогулке таким вот образом минут 15, все очень обрадовались, когда вслед за командой „кругом марш“ раздалась новая команда „правое плечо вперед“, что означало приказание вернуться в камеры.

...Мечтая чуть ли не в течение месяца о прогулке, каждый рассчитывал основательно поговорить с товарищами по волновавшим всех вопросам, обсудить сообща план борьбы за изменение режима. Но куда там. Не до обсуждения тут было.

## 4. Тюремная работа.

Как и во всех других крупных тюрьмах, в Орловском централе имелся ряд мастерских, которые первым делом обслуживали нужды самого централа, начиная от изготовления арестантские штанов и котов (род обуви) и кончая изготовлением... кандалов и гробов.

Затем портняжная, сапожная, столярная и переплетная мастерские обслуживали (бесплатно или за ничтожную плату) местную тюремную администрацию, членов губернской тюремной инспекции и губернатора.

Мастерские этого рода находились на общетюремном бюджете и составляли часть самодавлеющего, замкнутого в себе тюремно-крепостнического хозяйства. Но кроме них в централе были еще мастерские, принадлежавшие частным подрядчикам и выпускавшие на вольный рынок обувь, кровати, багетные рамы, бумажные кульки, картонажные изделия.

Для подрядчиков (в большинстве случаев мелких и оборотистых хищников) мастерские в тюрьмах представляли большие выгоды. Имея в своем распоряжении, с одной стороны, дешевый труд безропотных, всему повинующихся и работающих из-под палки заключенных, а с другой—строго-свирепую к арестантам и более чем ласковую к хозяевам администрацию, господа подрядчики очень умело превращали арестантский пот в звонкую монету. Этому содействовали не только нищенская оплата труда, но и почти полное отсутствие расходов на создание санитарно-гигиенической обстановки в мастерских. Особенно это относилось к так называемой хлопкотрепальне, о которой подробнее—ниже.

Как ни старалось тюремное начальство, но наплыв каторжан был до того стремителен, что имевшихся налицо и вскоре вновь оборудованных мастерских в Орловском централе на всех заключенных нехватало. Не только сидевшие в одиночках и подвергавшиеся особому надзору каторжане, но и сидевшие в общих камерах далеко не всегда имели работу.

Однако, памятуя о великой воспитательной, исправительной и прочее роли труда, администрация вкупе с тароватыми подрядчиками выдумывала для каторжан, годами томившихся в одиночках, одну „интересную“ работу за другой.

Вот неожиданно открывается обитая железом дверь камеры и в нее молча входит какой-то изможденный, с серо-желтым лицом каторжанин. В руках у него большая холщевая простыня с соломой. Не здороваясь, даже избегая смотреть в лицо товарища по заключению, он молча и сосредоточно ставит на железный столик деревянную бутылку и вынимает из-за пазухи пучок толстых серых ниток. Нарочито громким, деловитым голосом,—так, чтоб стоящий тут же господин надзиратель ни в чем „предосудительном“ его не заподозрил, он начинает об‘яснять, как из пучка соломы приготовить колпак для винной бутылки.

Работа заключалась в следующем: заранее заготовленную на особых станках солому надевают на деревянную бутылку и специальной иглой обшивают низ, середину и верхушку. Солома грязная, пыльная, каждый пучок приходится вертеть десятки раз и на десяток ладов, в результате пол, стены камеры, в которой находишься почти круглые сутки, а также уши, нос, рот—полны перетертой соломенной пыли.

В первые дни с этой работой не очень торопили, но потом отделенный стал каждое утро обходить всех работающих, записывал число сшитых колпаков, и если кто отставал от назначенной ему нормы, того он наказывал всегда похабной словесностью и—очень часто—побоями.

Какой-то каторжанин, желая отличиться, однажды сработал штук на двадцать свыше нормы и за это удостоился громкой на

весь коридор похвалы со стороны отделенного... Зато многие другие, сработавшие меньше нормы, были жестоко избиты.

При начальнике Синайском эта противная работа начиналась зимой с шести часов утра, а летом еще раньше. Утренняя суматоха с ее беготней на оправку, со звоном кандалов, руганью, понуканиями, хлопаньем дверей и форточек, колотушками и криками, благодаря этой работе сделалась еще большей. Не успеет каторжанин проглотить последний кусок, как сейчас же принимайся за соломенные колпаки, при этом страх отстать от нормы и быть избитым побуждал спешить и торопиться, так что после обеда никто не решался позволить себе и десятиминутного отдыха.

Когда кончился подряд на шитье соломенных колпаков для винных бутылок, сидевших в одиночках посадили за другую „милую" работу—за щипанье гусиных перьев... Бессрочных одно время заставляли наматывать шпули для местной ткацкой, кстати, весьма примитивно-оборудованной мастерской...

Представьте себе пожилых мужчин, присужденных к „тяжким каторжным работам", за таким занятием, как щипанье перьев для подушек.

Как правило, рабочий день продолжался здесь часов десять-одиннадцать, но особенность работы заключенных в Орловском централе была не столько в этом, сколько в чрезвычайно низкой оплате каторжного—во всех смыслах—труда арестантов. Достаточно сказать, что квалифицированный мастер (слесарь, столяр) редко зарабатывал больше 50-60 коп. в месяц. На таких же работах, как изготовление соломенных колпаков для бутылок, средний заработок не превышал 10-14 коп. в месяц...

## 5. В карцере.

Согласно инструкции, изданной еще в... 1831 г. „смотритель должен обходиться с находящимися под его надзором арестантами кротко и терпеливо. При назначении наказания он должен соблюдать спокойствие духа и отнюдь не предаваться досаде и вспыльчивости, дабы тем самым удостоверить виновным, что делаемое им наказание основано на справедливости".

Неизвестно для каких благочестивых целей была сочинена сия выдержанная в лицемерно христианском духе инструкция. Можно только с уверенностью сказать, что справедливости меньше всего приходится искать в действиях орловских тюремщиков. Абсолютное бесправие арестанта, его беззащитность развязывали руки самодурам. Воспитанный на домостроевских началах, привыкший раболепствовать и гнуться перед тем, кого он считает выше себя, такой самодур непрочь покуражиться над тем, кого он считает стоящим ниже себя. Угодливость и жестокость, пресмыкательство и тира-

ния—это два полюса одного и того же явления, одного и того же психологического уклада.

Как правило, причина и обстоятельства, вызвавшие наказание карцером, отмечались на листке, прибитом к дверям карцера, и потом заносились в личное дело данного арестанта. Архив Орловского централа дает много материала для суждения об этом виде наказания.

Вот грузин Абуладзе, очень плохо понимающий по-русски. На какой-то заданный ему вопрос он ответил:

— Моя сама ны знаит. Двенасатый год...

Он, очевидно, решил, что это его спрашивают о сроке, на какой он осужден, тогда как речь шла о том, почему он не снял шапки, когда пришел кто-то из начальства. Его отвели в карцер. Эта причина для наказания Абуладзе прямо и указана на его арестантском билете...

„Алексей Сорокин наказан 10 сутками темного и светлого карцера за отказ принять от фельдшера лекарство“,—читаем довольно странную надпись на другом билете.

„Викентий Батура после вечерней поверки сидел на окне и свистел. Наказан семью сутками карцера“.

„Иван Бородаев,—написано на третьем билете,—читал книгу после вечернего звонка. Наказывается неделей карцера и месячным пребыванием в одиночке“.

Но самую оригинальную надпись можно было прочесть на билете эстонца Карла Киймана:

„Приговаривается к двум неделям карцера за настойчивое, дерзкое и грубое заявление о том, что хлеб сырой“.

До какой степени безнаказанным чувствует себя тюремное начальство, если оно не стесняется заносить на бумагу подобные резолюции.

Как-то в коридоре третьего этажа стоял на посту надзиратель Исаев. В Орел он приехал вместе с Синайским из Владимирского централа. Своей грубостью, заносчивостью и бессердечием Исаев ни в чем не уступал местным „фараонам“, хотя был гораздо грамотнее и развитее их. В то утро, о котором идет речь, достаточно было взглянуть на его усталое и помятое лицо, чтобы понять, что „господин дежурный“ сегодня в плохом настроении. И действительно, целых шесть часов простоять на ногах в полутемном вонючем коридоре, не знать настоящего сна—это может расстроить кого угодно. Но всегда выходило так, что от дурного настроения господ надзирателей в первую голову страдал арестант, к которому они придираются, ища случая разрядить на ком нибудь накопившуюся злобу и раздражение.

Особенно это бывало по утрам, перед тем, как надзиратель уходил со своего ночного дежурства.

Как всегда, поверка кончилась еще до шести часов утра. Все арестанты были пересчитаны, дверные форточки снова заперты, началась утренняя „оправка“.

— Не наливай на пол!.. Живо мойся!.. Скорей!.. Не копайсь!.. Шагом марш!..—по обыкновению раздавались по всему коридору окрики Исаева, провожавшего арестанта с парашкой в уборную, где находился также умывальник.

Вбегает туда политкаторжанин Генкин, подскакивает к умывальнику и, убедившись, что в баке нет воды, не долго думая, взбирается на карниз умывальника и, найдя наверху кран, напускает в бак воду.

— Ты что это себе позволяешь,—закричал на него Исаев,—позволения спрашивал?!. Это что за самовольство?!. Распустили вас, сволочей, в морду бить перестали... Бродяга, так и так твою...

Лицо у него было злое. В прежнее время он тут же на месте избил бы Генкина, но теперь (1914 г.) ему приходилось маленько сдерживать себя и это еще больше злило его.

— Вы чего же ругаетесь?—не выдержал Генкин.—Неужели надо еще разрешения на такой пустяк спрашивать... Длинная это будет история. .—добавил он усмехаясь.

Минут через двадцать в одиночку Генкина входит отделенный Бывших. Постояв с минуту на пороге и по привычке осматривая всю камеру (не захватит ли врасплох на чем-нибудь „предосудительном“), он громко заговорил:

— Ты чего же это распространяешься, а? Дисциплину забыл?! Или мало тебе здесь попадало?.. Гони вниз и стань около карцера.

Спустившись вслед за Генкиным на нижний этаж, отделенный подошел к нему вплотную и произнес:

— Раздевайсь... Разувайсь!.. Ворочайся!.. Снимай штаны. Обыскать надо...

Генкин разделся, оставшись в одном белье. Отделенный тщательно ощупал его, осмотрел одежду и коты и отобрал носовой платок и портянки. Когда Генкин собрал в охапку бушлат, брюки и шапку, подошел к гостеприимно открытому карцеру, отделенный впихнул его туда и запер за ним тяжелую дверь.

Через несколько дней к дверям карцера был прибит листок с надписью: „арестант такой-то приговаривается к семи суткам темного карцера за грубое отношене к надзирателю и за смех“. В Орловской каторжной тюрьме карцеры помещались в одиночном корпусе, занимая оба крайних угла на каждом этаже. Таким образом, карцер представлял собой урезанный треугольник, одна сторона которого выходила в сени, ведущие на прогулочный двор, другая—в коридор, а третья примыкала к соседней одиночке. Пол здесь везде асфальтовый. Отопления в самом карцере вовсе не

имелось даже зимой. Каменные стены толстейшие—в аршин ширины; неудивительно, что в карцере всегда мучительный холод.

На полу, вплотную к стене, выходящей в холодные сени, устроен низенький, в несколько вершков вышины, деревянный помост—это и есть ложе для спанья. Матрац, подушка и одеяло отсутствовали. В углу, возле дверей, стоит маленькая „парашка“, надтреснутая и протекающая, ее никогда не промывают, и она насквозь пропитана ароматами, от которых делается тошно. На помосте лежит паек черного хлеба, рассыпано немного соли и тут же медная позеленевшая и проржавевшая кружка с холодной водой.

В карцере никогда не исчезающая сырость и затхлость. Воздух, тяжелый, промозглый, везде грязно, заплевано, загажено, намочено. Когда зайдешь в этот темный, вонючий треугольник, сразу охватывает сильнейшее головокружение и в глазах начинает мутиться.

Состояние карцеров не было тайной для высшего тюремного начальства. Так, в одном циркуляре Главного тюремного управления прямо пишется:



**И. И. Генкин—автор воспоминаний об Орловском централе (снимок 1914 г.).**

„При некоторых местах заключения или не имеется вовсе карцера, или существующий не удовлетворят своему назначению по санитарному условию; так, в одной из тюрем карцер оказался настолько холодным, что помещенный туда в зимнее время арестант заморозил себе ноги. Иные помещались в карцер в одном белье, без обуви и... не всегда своевременно получали даже хлеб и воду“.

Особенно плохо тем, кто закован в ручные и ножные кандалы; ремень и подкандальники обязательно отбираются и цепи приходится при малейшем движении влачить за собою по полу. Когда подумаешь, что иные каторжане проводили в карцерах в общем сотни суток, то поневоле думаешь, до чего может приспособиться человеческий организм. Остается только удивляться физической выносливости и душевной силе этих каторжан.

Для каторжанина, и без того истощенного и измученного, наказание карцером—вещь убийственная. В деле окончательной и бесповоротной изоляции „преступника" от „порядочного" общества, в деле ускоренной отправки его на тот свет, наказание темным карцером играет довольно большую роль.

Темно... Тошно... Дни тянутся с тоскливой медлительностью. Пожуешь черный хлеб, запьешь его холодной и сырой водой с противным запахом нечищенной меди, попробуешь сделать пару шагов, потом сядешь и начнешь в тысячный раз думать о давно уже передуманном. Когда надоест копаться в области фактов, перескакиваешь в царство мечтаний. Начинаешь фантазировать о том, чего никогда не было и никогда не будет; строишь так один воздушный замок за другим, расцвечиваешь их в радужные цвета своих желаний и... уносишься мыслями далеко далеко от неприглядной действительности.

Или же, очнувшись от сна наяву, ощупью подползешь к двери, приложишь ухо к какой-нибудь щелочке и станешь с лихорадочной жадностью ловить малейшие звуки, доходящие из коридора, стараясь по ним восстановить то, что сейчас творится за пределами карцера. Когда и это надоест, уляжешься на досках, сожмешься в комочек и пробуешь уснуть. Не то с нетерпением начнешь высчитывать, когда же тебя, наконец, переведут в светлую камеру, дадут кипяток и обед, разрешат поспать хоть одну ночь на брезентовой койке. Всего этого ждешь, как чего-то необыкновенного и соблазнительного, заранее предвкушая удовольствие. Но потом внезапно поймаешь себя на мысли об этом и сразу делаешься противным самому себе...

— Тоска по каше!... — что за прозаические мечты!.. Тоска по кипятку. .— что за пошлый „материализм"!.

На четвертый день полагается свет, горячая пища, прогулка. Но это только „по закону", т. е. на бумаге. У нас же в Орле прогулки карцерному совсем не давали, хотя бы он был приговорен на целый месяц (максимальный срок, к которому разрешалось приговаривать в один прием). Специально приспособленных, светлых карцеров при Синайском в Орле не было, так что на четвертые сутки Генкина перевели в обыкновенную одиночку. Оставленный им карцер был немедленно занят каким-то Филипповым, приговоренным к семи суткам за то, что, находясь в общей камере, он подошел к подоконнику и посмотрел в окно... Таким образом, когда Генкину нужно было перейти обратно в темный карцер, такового уже не оказалось: все они были заняты новыми гостями.

Оставшиеся трое-четверо суток Генкину пришлось провести в светлом помещении. Если раньше он мечтал о светлом карцере, как о величайшем наслаждении, то теперь, попав в него, он уже

жалел о том, что его перевели из темного. Там он мог, по крайней мере, в любое время растянуться на голом помосте. Здесь же, хотя имелась койка, пусть без подушки и одеяла, но она была прикреплена на замок к стенке, и ни надзиратель, ни отделенный ни за что не соглашались отпереть ее.

— Не полагается... — был стереотипный ответ.

Не решаясь зимой спать на голом асфальтовом полу, Генкин оставшиеся все четыре ночи провел в сидячем положении, устраиваясь на коротенькой и узенькой скамеечке, прибитой к стене подле железного столика, возле парашки. Подушкой ему служил железный столик.

Из карцера Генкин вышел измученный, с воспаленными глазами и шатающейся походкой, еще более побледневший, весь грязный и растрепанный.

Без ужаса нельзя себе представить, как должны были себя чувствовать те чахоточные, которых везде и всюду сажали в карцер за такие же „проступки“ и на таких же „основаниях“, как и здоровых арестантов.

## 6. Доктор Рыхлинский.

Представление об администрации Орловского централа было бы не полным, если бы мы не остановились на одной фигуре, которая, хотя и не принадлежит к тюремному начальству как к таковому, но которая обыкновенно играет большую роль в жизни заключенных. Мы имеем ввиду тюремного врача.

В лице доктора Рыхлинского перед нами замечательный случай приспособления к гнуснейшему режиму со стороны человека, профессия которого, казалось бы, обязывала его к совсем другому поведению.

Про д-ра Рыхлинского можно сказать с уверенностью, что от орловского надзирателя он отличался разве тем, что носил пенсне, шикарно одевался, стриг бороду не в виде лопаты, а в виде эспаньолки, и курил не махорку, а дорогие папиросы. Правда, сам доктор никогда не дрался, но зато часто топал на больных ногами, грозился розгами и т. д. Кошмарный режим, расстраивавший здоровье заключенных и массами сводивший их в могилу, его нисколько не возмущал.

Чахоточные, которых он даже не изолировал от здоровых, находились у него на обыкновенной арестанской баланде, и он даже не постарался выхлопотать для них хотя бы ежедневную прогулку; единственное, чего он для них добивался и добился—это войлоков для брезентовых коек.

Его отношение к больным, находившимся в лазарете, отдавало возмутительной халатностью, граничащей с преступностью. Дей-

ствительно, смертность при Рыхлинском во много раз превосходила самые максимальные нормы. При нем больные не были даже гарантированы от побоев. Так, если надзиратель заметит, что кто-нибудь курит в палате, он обязательно поколотит за это. Иной дядька вдруг возмутится тем, что больной расхаживает по палате.

— Здесь, сволочь, тебе не бульвар... Лежи, коли больной!

Само собой разумеется, что подобные изречения лишь в редких случаях обходились без кулачных комментариев. На подобные выходки Рыхлинский смотрел сквозь пальцы. Зато он и пользовался у нас всеобщей и глубокой ненавистью.

Если о его заместителе Лисохине, докторе из местных евреев, гуманном и чутком человеке, все без исключения арестанты отзывались с любовью и уважением, то о Рыхлинском никто доброго слова не скажет. Встреться он наедине где-нибудь с каторжанином, то навряд ли ушел бы живым.

„...Я совершенно человек темной как ночь и то я вижу Неправду Аброзованных людей как у етого Доктора у Него Львиная душа и сердца Тигриная",—писал в одной записке некий Азаров, случайный уголовный, проживший в централе целых семь лет.—„Наверно он для етого получил Аброзованье чтоб как легча (легче) кровь пить с темнова человека. Бедной несчасный арестант пропадаить пезачто как насекомая".

## 7. О тех, кто не выдержал нагрузки.

Конечно, тюрьма—есть тюрьма. Все тюрьмы всех времен и народов, была ли то глубокая яма, кишевшая крысами, каменный ли мешок, где заключенных приковывали к стене, средневековый ли русский острог, где арестантов даже не кормили, а в цепях, под охраной заставляли выпрашивать милостыню на площадях; была ли то Тоуэрская башня в Лондоне, Шильонский замок на Женевском озере, Бастилия в Париже или наши отечественные—Петропавловка и Шлиссельбург,—все тюрьмы имели ввиду причинить заключенным тот или иной ущерб, физический и моральный.

В этом смысле и тюрьмы царского времени целиком выполняли свое назначение. И та нервная нагрузка, которая накладывалась на заключенного Орловского централа, имела прямой целью привести его к физическому уничтожению, раз не удалось вызвать в нем чувства „раскаяния" и готовность к „исправлению".

— У меня нет каторжан с плохим поведением,—говорил пишущему эти строки начальник Псковского централа, полковник П. И. Черлениовский.—Про каждого, кто от меня уходит, я даю такой отзыв: тих, почтителен, скромен... Неисправимых же я уничтожаю, просто „у-ничто-жа-ю..."

Формула эта всецело применима и к Орловскому централу, где довольно большой процент заключенных не выдерживал столь непосильную душевную нагрузку.

В просмотренных нами делах архива Орловского централа мы нашли несколько папок с бумагами, касавшимися отправки каторжан в Казанскую и Московскую окружные психиатрические лечебницы. Их отправляли не столько для лечения, сколько для испытания и подтверждения, не симулируют ли они. Так, в феврале 1914 г. были отправлены с такой целью Терентий Дгебуадзе, Ян Касперсон, Гавриил Гурза и Иван Беликов... Из дела не видно, чем именно заболели означенные товарищи, но достаточно вспомнить про общий режим централа, чтобы найти корни нервного заболевания сотен каторжан, особенно политических, из которых многие, находясь в централе, были уже на грани действительного сумасшествия.

Достаточно просмотреть „статейный список“ хотя бы одного из упоминаемых выше политкаторжан, чтоб составить себе представление о тех причинах, которые вызывали столь тяжелые психические травмы.

В переписке канцелярии Орловского централа с Губ. тюремной инспекцией мы читаем:

Иван Данилович Беликов, садовник, осужден за восстание в 41 пехотном Селенгинском полку 4 июля 1907 г. в г. Киеве.

| За что наказан. | Наказания. |
|---|---|
| 1. За ослушание выводного надзирателя | В светлый карцер на 5 суток |
| 2. За произведенный шум и крик | „ „ на 7 „ |
| 3. За хранение перочинного ножика | „ „ на 7 „ |
| 4. За угрозы выводному надзирателю | „ „ на 7 „ |
| 5. За то, что боролся в камере с арестантом Кирсом | „ „ на 5 „ |
| 6. За дерзкий ответ | „ „ на 7 „ |
| 7. За настоятельные и неосновательные пред'явления претензий | „ „ на 4 „ |
| 8. Во время вечерней поверки заявил себя больным, но по освидетельствовании доктора и фельдшера оказался здоровым | „ „ на 14 „ |

В психиатрической лечебнице выяснилось, что у Беликова была лишь сильнейшая форма неврастении, а не подлинное сумасшествие.

Конечно, индивидуальные особенности заболевших играли здесь решающую роль. Чем тоньше была психологическая организация человека, тем мучительнее он реагировал на наносимые ему оскорбления.

„Из ужасов каторги на него сильнее всего действовало то, в чем выступало не прямое насилие, а издевательство, стремление унизить, растоптать человека,—вспоминает один каторжанин про Сам. Файнберга [1]). Пытка „волчком“ досталась ему чуть не тяжелее всех побоев и брани. В Орле было положение безмолвно вставать с места и вытягиваться во фронт, когда в волчок двери общей камеры смотрит надзиратель. Только всего... Но это „только всего“ на деле означает жизнь с постоянной мыслью о том, что ты обязан следить за дыркой в дверях, следить и ловить момент, когда надзирателю придет фантазия поиграть в эти своеобразные „кошки и мышки“. И так проводить целые дни из месяца в месяц... Дорого Файнбергу достался этот орловский волчок“.

Недаром же С. Файнберг пытался в Орле покончить самоубийством.

Самоубийства... Их в Орловском централе было больше, чем в какой-либо другой каторжной тюрьме. Вот некоторые отрывки из печального мартиролога, краткая запись о тех, кто не выдержал чрезмерной психической нагрузки.

Политический Мирошниченко, которого, как и всех прибывших из Новочеркасска, страшно избили во время дежурства помощника Александровского, на следующий же день пытался повеситься. Его сняли с петли живым, но он вскоре умер.

В своей одиночке сжег себя Яковенко. Помощник Анников, прибежав на тревогу, бил его лежачего и полуобожженного; на третий день Яковенко умер.

Сергей Кудрявцев, снятый с петли и потом сошедший с ума, а также и Петр Лютиков, накинувший на себя петлю, и зверски избитый за это,—умерли вскоре в больнице.

„Удачно“ повесились и сняты были с петли уже холодными трупами: петербургский студент-большевик Сапотницкий, Маларчук, Грибанов, Курагин, Сикорский, Петр Судик (ночью повесился в шестой камере четвертого отделения), Степан Чередников (надел на шею веревку и закрутил ее деревянной ложкой), Бальцеровский, Фатеев, Михаил Новиков (чахоточный, выпоротый за участие в обструкции), Шубович.

Грабов бросился с лестницы и разбился на-смерть. Абрам Хинчук сбросился с верхней площадки, то же сделал Зуев. Хинчук остался живым. Зуев же сильно искалечил себя.

Невинно осужденный в бессрочную каторгу А. Розен, нещадно избиваемый, сбросился через перила третьего этажа на асфальтовый пол, разбился, впал в тихое умопомешательство и через год умер, так и не приходя в сознание.

---

[1]) См. статью Е. Т. в журн. „Каторга и ссылка“ за 1922 г., № 4

Если бы кто-нибудь пожелал своевременно произвести ревизию Орловского централа, то этот мартиролог был бы, несомненно, значительно удлинен.

Обстановку, в которой совершались самоубийства, трудно установить с точностью. Так, например, извлеченное из земли тело Сапотницкого оказалось в кровоподтеках и синяках. Тов. Д., который пришел в июне 1909 г. в Орел вместе с Сапотницким, высказывает даже предположение [1]), что он вовсе не покончил с собой, а что его забили насмерть, опасаясь разоблачения им орловских порядков: Сапотницкому предстояло через полгода выйти на волю и у него были большие связи в революционной среде.



**А. Б. Сапотницкий, покончивший с собой после истязания в Орловском централе. Снимок 1905 г.**

О нем следует сказать несколько слов.

Альберт Борисович Сапотницкий, сын очень состоятельных родителей, несмотря на окружавшую его с детства среду, очень тяготился бытом богатой молодежи и с ранних лет льнул к общественности, интересовался идейными проблемами. Примкнув сперва к бундовцам, он потом в 1906 г. вошел в военную организацию большевиков и вместе с тов. Ем. Ярославским состоял членом редакционной комиссии нелегальной газеты „Казарма“ [2]).

Когда была разгромлена военная организация большевиков при Петербургском комитете РСДРП и была арестована с.-д. фракция 2-й Государственной думы, среди привлеченных по делу „военки“ (М. И. Фрумкин, Б. А. Воробьев, д-р Ф. В. Гусаров, Н. И. Плюснина) находился и студент Сапотницкий. Суд приговорил его к 5 годам каторги. Шокированные приговором, богатые и влиятельные родители Сапотницкого добились в „сферах“ обещания заменить Альберту каторгу ссылкой, при условии, что он подпишет прошение на высочайшее имя.

---

[1]) См. „Пути революции“, 1927 г., № 1.

[2]) См. ст. С. Я. Хейфеца „Каторга и ссылка“, 1925 г., № 3 и в сборн. „Казарма“, изд. Ленингр. Истпарта в 1932 г.

Сапотницкий наотрез отказался от этого, и был отправлен во Владимирскую каторжную тюрьму. Здесь он пытался устроить побег, за что и был переведен в Орел. В Орле он погиб 26 лет от роду.

Когда 21 июня 1914 г. повесился в одиночке брянский рабочий Мих. Ник. Новиков, начальство несколько встрепенулось и решило принять решительные меры против повторения „подобных нежелательных случаев". О характере этих мер говорит следующее официальное распоряжение начальника тюрьмы:

1) „Усилить надзор во время смены караула, так как арестанты-самоубийцы пользуются для своих целей шумом по корпусу.

2) К потерявшим душевное равновесие посадить еще по одному арестанту".

„Эффективность" этих двух мероприятий очень трудно проследить.

Зато не так трудно проследить обстановку, которая доводила людей до того, что в припадке отчаяния они просто кончали с собой.

Выше мы упомянули самоубийцу Михаила Новикова. Это был брянский рабочий, туберкулезный больной, наказанный розгами за участие в одном протесте. О его самоубийстве имеется специальный рапорт за № 3145. В „деле" о Новикове имеются и другие записи, касающиеся, между прочим, сидения его в карцере.

„Наказан за умышленное кашляние и сморкание",—читаем мы.— „Не поднялся к утренней поверке и не убрал постели, заявляя, что больной".—Особенно замечателен следующий комментарий пом. начальника: „Когда арестанта Новикова отправляли в карцер, он выражал всякого рода протесты и грубо отвечал на троекратные требования замолчать".

...„Бедный, несчастный арестант пропадает ни за что, как насекомое",—приводили мы выше слова одного орловского каторжанина.

Каторжане действительно пропадали у нас, как насекомые. Нам трудно было достать точные цифры смертности в Орловском централе, но, сопоставляя собственные наблюдения, показания многих больных, лазаретных служителей и мастеров, изготовлявших гробы, мы утверждаем, что за время 1908—1914 гг. здесь умирало не меньше 150—200 каторжан в год [1]). Положительно не было недели, чтобы кто-нибудь не умер, и, наоборот, бывали дни, когда умирало пять, шесть, а то и семь человек.

Необычайная цифра умиравших от чахотки вызвала тревогу даже со стороны Главного тюремного управления. Введены были

---

[1]) В Англии в эти самые годы умирали на тысячу жителей в год 14 чел., в России—28, это считая и стариков и детей. Надо иметь еще ввиду, что на каторге, как и вообще в тюрьме, преобладает самый цветущий возраст.

периодические осмотры легочных больных (без всякого, однако, улучшения их пищевого довольствия и общеправового положения...), по всем камерам розданы были медные плевательницы с раствором марганцевого калия, а, главное, всюду на стенах вывешаны были правила о том, как уберечь себя от чахотки; бывать на воздухе и лучше питаться,—таковы были пахнущие издевательством наставления гигиенистов тюремного ведомства.

Измученный предварительным (еще до приговора) сидением, расстроенный режимом каторги, измочаленный арестант после нескольких основательных встрепок падал с ног. Если он человек впечатлительный, если у него, кроме того, слабые легкие, то, смотришь, через некоторое время он уже обращается к фельдшеру, который и начинает его пичкать порошками и мазать иодом. Потом его переводят, а то и переносят в больницу, а через несколько месяцев как-нибудь случайно узнаешь, что такой то приказал долго жить...

В первое время такие случаи производили на меня лично страшно угнетающее впечатление. Думая об ином товарище, так печально кончившем дни свои на тюремной койке, вдали от близких людей, среди тюремщиков, с холодным равнодушием смотревших на его предсмертные муки, я, бывало, не находил себе места в одиночке. Образы, один кошмарнее другого, так и плодились в моем воображении. А когда в голове назойливо застучит мысль о том, что, ведь, и ты сам можешь испустить здесь свой последний вздох и замолкнуть навеки в казенном гробу, меня охватывала жуть.

Иной раз бывало и так, что избиваемый каторжанин умирал тут же на месте.

У политического Петра Мамонтова нашли во время обыска какие-то порошки от кашля.

— Зачем так много,—закричал на него отделенный. - Ты что это: больницу здесь заводишь, или аптекарский магазин открыть собрался!.. Выходи!

Мамонтов вышел в коридор, надзиратель ударил его кулаком, он поднял крик, что еще больше раз'ярило дядьку. На помощь ему подошли еще двое надзирателей.

— Ты чего так церемонишься с ним,—подзадорили они.—Ишь, чорт, еще царапается... Дай-ка ему под микитки...

Мамонтова били до тех пор, пока он не свалился с ног. У него из горла пошла кровь, послали за фельдшером, но пока тот удосужился прийти в корпус, Мамонтов умер.

Непосредственно от избиений и в самой ближайшей связи с ними у нас умирало немало каторжан. Так было, например, с Севрюковым, Кудиновым, Цыгановым, Насеновым, Солодухиным, Сабуровым, Грековым, Кривцовым, Никулиным, Сандлером, Фу-

димом, Редько, Литманом, Малыхиным, Жмиевым, Селивановым, Москальчуком, Баламудом, Мосиенко.

„...Бедные и несчастные мы Орестанты,—писал каторжанин Азаров в ответ на просьбу прислать свою тюремную биографию.—Как нам можно жить в Орле как не умереть как не быть больному и Чехоточному. Бедный он и так убит Горем своим, а тут ищо Верховная Власть наволилась как Соранча. Как тут не повесится или не згореть или броситься куда нибудь только лишь ни мучится“.

Азарову предстояло вскоре выйти на поселение, и он описывает самочувствие, с каким он оставляет Орел. Вот его буквальный ответ (я только исправил слегка орфографию):

„Я до сего времени никого еще не грабил и не скуповал своих рук в чужой крови. А теперь буду даже жрать мясо человеческое. Вот до чего централ меня исправил. Я только для того живу и ожидаю конца срока, чтобы выйти на волю и задушить всех врагов. Я буду купать в чужой крови руки до тех пор пока чья нибудь железная и властная рука меня самого задушит. В этом есть низкое чувство, чтобы я не отомстил сам за себя. Какой же я тогда буду челевек, если сам не постою за себя. Хотя и смерть мне будет за это, но я и так сейчас не живу, а только существую, как какая-нибудь мебель“ („небель“—стоит в оригинале).

Дальше мысли Азарова принимают неожиданное и довольно своеобразное направление; толкаемый какой-то запутанной ассоциацией идей и воспоминаний, он продолжает:

„Богатые и начальство только тому и учатся, как человека темного оседлать и понукать и как бы на мужика надеть ярмо деспотизма („как бы надеть на его Ермо бесплотизма“, - пишет Азаров), и вези, мужик, не шевелись. Вот где ваши ученые интеллигенты, вот где у них чувство человеческое, вот где сожаление к человеку. Какой же тогда может быть бог. Для мужиков еще монастыри строят, а сами идут в театры, в рестораны, на лихачах раз'езжают, вино пьют за пять рублей од на бутылка, на все это у них хватает тратить финансов. За что инспектор, и начальник, и доктор, и все образованные господа деньги получают? Нет, нужно стереть ихние законные правления и всех вырезать. Вот я восемь лет отбываю, но мои жертвы приближаются, не дам пощады никому, всех буду стирать, пока не лягу под пулею. Вот как исправил меня Орел, только я не могу вам красноречиво писать, а на душе у меня много кой-чего накипело“.

В лице Азарова Орловский централ нашел судью, взгляды и намерения которого являются прямым следствием господствовавшей у нас системы.

— Мы,—по-суворовски говорили орловские надзиратели,—четырех уничтожим, но одного исправим...



**Орловский централ. Навес, где происходила работа „на хлопках"**

АКТИВИСТЫ И ПРОТЕСТАНТЫ.

## Трагедия на хлопках.

Мы уже описывали обстановку работы на хлопкотрепальне. Там именно и разыгралась однажды „история", стоившая жизни пяти каторжанам и одному надзирателю.

... Было это девятого августа 1910 г. Уже с самого утра солнце мало светило. Небо заволокло тучами и днем казалось, что наступили сумерки. Воздух был душный, давил словно густой туман и вызывал у всех непонятное раздражение. Люди огрызались по самому ничтожному поводу, все ходили хмурые и напряженные.

В этот день на машине № 10 работал Иван Трофимович Богданов, недалеко от него в углу, под навесом—Иван Васильевич Ионов, два друга, из которых один имел 15 лет каторги, а второй—20 лет.

Обоим нередко „попадало" от Ветрова, и один вид этого самодовольного человека, собиравшегося в от'езд с повышением в чине, вызывал в них приступы раздражения, которому настоятельно требовался какой-нибудь выход.

Часа в три пополудни в какой-то машине произошла поломка, послали за плотником, и пока последний осматривал машину, Богданов, не долго думая, схватил топор, которым „на хлопках" рубили в куски старые канаты, и решительными шагами направился к

Ветрову. Догнав его, он в один прием уложил его на месте. Увидев это, Ионов сорвал с Ветрова револьвер и бросился с ним по направлению к кузнице. Стоявшие поблизости надзиратели стали стрелять в Богданова и Ионова, но от волнения их револьверы давали все время осечку.

Встретив на пути надзирателя Андреева, Ионов выстрелил в него, потом вбежал в кузню и крикнул:

— Нате, ребята, шпайер, стреляйте в остальных гадов! Все-равно так жить нельзя, они нас побьют всех не нынче, так завтра...

Богданов, держа в руках топор, бросился искать других надзирателей. Все дядьки попрятались кто куда. Двое постовых оставались на месте, один из них забился в угол ограды. Богданов бросил в него сразмаху топором, но не попал. Заметив второго постового, Богданов пошел на него прямиком, несмотря на то, что тот уже взял ружье наизготовку. В шести шагах от себя надзиратель выстрелил в него в упор и попал Богданову в лоб. Богданов свернулся на месте.

Кто-то из надзирателей успел нажать кнопку тревожного сигнала. Все свободные от дежурства надзиратели и караульная команда устремились, во главе с помощником начальника Симашко, к месту происшествия. Побелевшие от неожиданности и ужаса каторжане (в тот день „на хлопках“ их находилось человек девяносто) моментально бросили работу и, словно загипнотизированные, смотрели на ворота, через которые входили вооруженные солдаты и надзиратели. Увидев их, Ионов и еще некоторые схватили валявшиеся возле кузни куски железа.

— Смирно... На колени... Руки вверх!..—кричал рассвирепевший старший надзиратель Захар Козленко. Став возле дверей мастерской, он стал палить из револьвера... Едва показался Ионов, державший в руках кирпич, как заметивший его помощник начальника Симашко приказал надзирателю Гурееву стрелять. Тот в один прием убил Ионова тут же. Вслед за этим Козленко выпалил из револьвера в первого попавшегося ему на глаза, то был Василий Ляшко, стоявший перед ним в недоуменной позе. Ляшко со стоном свалился. Заметив дальше старика Юдина, Козленко выстрелил и в него два раза в живот. Старик тут же и остался лежать полумертвым. В ту же ночь он скончался.

Ранен был еще кузнец Глуховатый, который умер на следующий же день.

Надзиратели до того рассвирепели, что прибежавшему сюда начальнику тюрьмы пришлось с шашкой в руках удерживать их от дальнейшей расправы. Кое-как подобрали раненых, среди них были, между прочим, Мартын Сиодлак, польский эсдек, теперь член ВКП, и севастопольский матрос, участник восстания 1905 г.

Василий Корнеев. Надзиратели выстроились в две шеренги и, действуя кто прикладами, кто рукоятками револьверов, а кто кулаками, прогнали сквозь строй всех работавших в тот день „на хлопках". При этом многие (например, Крысевич, Сабуров, Фудим, Гончаров) были более чем основательно искалечены.

К этому времени на помощь Симашко и Козленко примчались граф Сонгайло и Мацевич. Наконец прибыл и сам губернатор и помощник тюремного инспектора. Приказав убрать убитых и раненых, губернатор велел отобрать десятка два зачинщиков, и на следующий день их, сразу же после утреннего чаю, одного за другим выпороли розгами, дав по 50 ударов каждому. Кроме того, 93 человека было посажено на полукарцерное положение в одиночки, причем многие из них были снова закованы в ножные кандалы.

Не подлежит ни малейшему сомнению, что данное „происшествие" вспыхнуло совершенно стихийно, хотя психологически оно подготавливалось давно. Подготавливали его сами творцы орловского режима. Единственно кто, быть может, действовал с „заранее обдуманным намерением",—это Богданов и Ионов, которые, очевидно, решили отомстить Ветрову и напомнить всем другим Ветровым о том, что и арестантскому долготерпению приходит конец.

Как же оценивала „историю на хлопках" администрация?

Всячески скрывая подлинную подоплеку события и выставляя напоказ свою храбрость и распорядительность, тюремное начальство пыталось обосновать произведенные им убийства пяти каторжан и ранение одиннадцати тем, что в день девятого августа замышлялся... массовый побег.

В своем рапорте от 16 сентября 1910 г. за № 9924 начальник тюрьмы развивает следующее:

„Беспорядки начались в три с половиной часа дня, то есть тогда, когда арестанты менее всего могли рассчитывать на то, что администрация тюрьмы сможет принять быстрые и сильные меры к подавлению возмущения: в тюремной канцелярии занятия прекратились, дежурному помощнику трудно отлучаться, большинство надзирателей уходит на обед. Затем, в эти часы двор, где находится контора и главный вход в тюрьму, почти не окарауливаются, а у калитки, ведущей на улицу, стоит лишь один часовой".

Развивая версию о готовившемся массовом побеге, начальник сообщал в другом донесении, что „по агентурным сведениям, еще весной предполагался побег из церкви или во время выпуска из мастерской, причем ожидалась помощь со стороны брянской боевой дружины".

Здесь очень интересно отметить, что информация орловского начальства (в том числе и губернатора) показалась неправдоподоб-

ной даже Главному тюремному управлению. Получив первые донесения еще от 11 и 13 августа, помощник начальника Главного тюремного управления—фон-Беттихер —высказывает в секретном письме от 23 августа за № 494 ряд соображений, оспаривающих убедительность описания, данного орловскими властями. В предвидении появления в газетах разоблачительных статей, и особенно в предвидении нового запроса в Государственной думе, фон-Беттихер в очень тонкой и замаскированной форме подсказывает своим подчиненным содержание новой, менее противоречивой и более убедительной об'яснительной записки, какую желательно было бы на всякий случай получить из Орловского централа...

Среди арестантов нашлись и такие, которые показывали следователю все, что хотелось начальству. Особенно усердствовали здесь Вальчук, солдат Матвей Дадьянов и Василий Карнеев, тот самый матрос, осужденный по делу о севастопольском восстании 1905 г.

Вальчук до того переусердствовал, что уверял на дознании, будто он сам видел, как Ляшко „после того, как его ранили, сам себя убил топором".

Этот же Вальчук донес помощнику Анникову о том, что, как гласит официальный рапорт,—„группа евреев стремилась послать письмо в Брянск с призывом к боевой дружине". В связи с этим однажды утром 24-я камера не была выпущена на работу, что удивило и взволновало всех сидевших там. Вдруг открывается дверь и Анников приказывает пяти политкаторжанам (Абраму Хазанову, Исаю Ратовецкому, Симону Песину, Давиду Ступину и Соломону Бренерову) выйти в коридор. Их отправили в одиночки, а в их отсутствии в камере был сделан обыск. По указанию Вальчука и другого доносчика, Бессонова, Анников схватил шапку Хазанова и нашел в ней (очевидно кем-то из предателей подброшенное) письмо с призывом к брянской „боевой дружине" доставить в централ „двадцать апельсинов" (т. е. бомб). Этого было достаточно, чтобы выпороть розгами упомянутую пятерку, присоединив к ней еще двоих евреев политкаторжан—Симона Уманского и Абрама Чапника. То обстоятельство, что этих семь человек *только выпороли*, а не предали суду, т. е. не раздули дело в грандиозную попытку взорвать тюрьму бомбами и т. п., показывает, что сама администрация не верила доносчикам.

Суммируя показания допрошенных им каторжан, следователь дает в своем заключении следующий перечень причин, вызвавших „беспорядки девятого августа":

„1) Покушение на массовый побег; 2) месть надзирателю Ветрову; 3) месть начальнику тюрьмы, его помощникам и надзирателям; 4) надежды на ослабление режима; 5) надежды на смещение за беспорядки нынешней администрации; 6) желание некоторых арестантов быть убитыми".

Особенно замечателен последний пункт: „желание быть убитыми“.

Выбрав совершенно произвольно семнадцать человек, следователь предал их суду, как главных „зачинщиков“.

Высшее и низшее тюремное начальство было убеждено, что суд одних приговорит к повешению, а другим удлинит срок каторги.

Но даже царский суд не счел на этот раз возможным поступить так и оправдал всех подсудимых.

* * *

Среди пострадавших во время „возмущения“ были и некоторые надзиратели. Они были награждены деньгами и медалями (с надписью „за усердие“ для ношения на шее и на груди на анненской и александровской ленте). Относительно денежной награды в деле „о беспорядках девятого августа“ имеется следующий документ:

„Попечительство пострадавших от крамолы сиротах и вдовах“, получив известие, что в одной из орловских тюрем имеются пострадавшие от крамолы, имеет честь просить ваше превосходительство не отказать в зависящем от вас распоряжении о сообщении правлению имен и местожительства пострадавших“.

Семье убитого Ветрова и еще двоим надзирателям было отпущено по 100 руб., четырнадцать других дядек получили награду от 8 до 40 руб. каждый, причем Захар Козленко получил 40 рублей, Бубновский 23 руб., Новченко 8 руб. и т. д.

Цена крови...

„12 ноября 1910 г.,—читаем мы в „Тюремн. вестнике“ за 1911 г. (стр. 1390) семи надзирателям, осчастливленным столь высокою монаршею милостью были розданы пожалованные им медали при торжественной обстановке.

В 11 часов утра в каторжную тюрьму прибыл вр. и. должность орловского губернатора, вице-губернатор высочайшего двора действ. ст. советник Н. П. Галахов вместе с орловским губернским тюремным инспектором Н. П. Сербиновым, к каковому времени во дворе были построены все свободные от нарядов надзиратели, имея на правом фланге семь надзирателей, представленных к наградам. Тут же присутствует начальник тюрьмы поручик Синайский“.

Дальше описывается, как управляющий губернией произнес речь, лично навесил на надзирательские груди серебряные медали, после чего „губернатор, тюремный инспектор, администрация тюрьмы и вся команда надзирателей была снята общею группою“.

* * *

„Трупы убитых убраны. Кровь на земле стерта. Работы возобновлены. Тюремная жизнь снова приняла свой обычный спокойный вид“,—такими словами заканчивается один из рапортов губернской тюремной инспекции по поводу трагедии на хлопках...

# „Можете жаловаться"...

В своих выступлениях в печати или в Государственной думе руководители тюремного ведомства часто отводили обвинения стражи в избиениях тем, что, мол, от арестантов никогда не поступали жалобы на физическую расправу с ними.

Между тем, даже в Орловском централе находились иной раз такие смельчаки, которые открыто жаловались на избиения местному, а то и высшему начальству. Рассмотрим несколько таких случаев.

„Самуил Бейлин, мещанин из города Переяслава, Полтавской губ., 26 лет, учился в среднем учебном заведении. Присужден к восьми годам каторжных работ за вступление в преступное сообщество, именующее себя „Екатеринославской федеративной организацией рабочих анархистов-коммунистов".

Этими словами начинается „статейный список" видного агитатора „Саши Шлюмпера"—под каковой кличкой Бейлин был весьма популярен среди екатеринославских и белостокских революционеров.

После того, как Бейлин просидел некоторое время в Киеве, он был отправлен в Орловский централ со следующей характеристикой:

„Поведения скверного, в среде арестантов имеет большое влияние, любит писать кляузы на тюремную администрацию, невоздержан в своих выражениях, может вести тайную переписку с другими арестантами, за что неоднократно отбывал наказание в карцере как в темном, так и в светлом".

Согласно закону, с Бейлина следовало снять ножные кандалы 26 июля 1910 г., но—сказано в его статейном списке—„ввиду неодобрительного поведения он был раскован лишь 13 февраля 1912 г."

В чем же заключалась „неодобрительность" его поведения? Об этом говорит следующее извлечение из штрафного журнала, относящееся к концу 1911 г., т. е. к тому времени, когда Бейлин достаточно отсидел в карцерах и уже достаточно зарекомендовал себя в качестве „неисправимого". В приведенном извлечении не отмечены все предыдущие виды „преступления" и наказания (см. таб. на стр. 45).

Все говорит за то, что перед нами был душевнобольной человек, как бы ни уверяли наши тюремные смотрители, что Бейлин „симулирует из себя сумасшедшего". До сумасшествия довели его порядки Орловского централа. Я не знаю, был ли он избит при самом поступлении своем в централ, но что он очень скоро на себе лично испытал особенности „орловского" режима, видно из следующего.

| Год, мес., число | Проступки | Взыскания |
|---|---|---|
| 1911 15 дек. | Симулировал из себя больного. | В темный карцер на трое суток. |
| 1912 Янв. 11 | Симулировал сумасшедшего. | В светлый карцер на 6 сут. |
| „ 16 | Симулировал сумасшедшего и кричал без всякой причины. | Наказан розгами в колич. 25 ударов. |
| „ 23 | Лежал днем на тюфяке. | На четверо суток карцевого положения. |
| Февр. 1 | Выбросил остатки обеда в парашу. | На 7 суток в карцерном положении. |
| „ 13 | Облил себя и матрац керосином из лампы и пытался зажечь, явно симулируя этим сумасшедшего. | Наказан розгами в колич. 25 ударов. |
| 1913 Дек. 14 | На замечание надзирателя: „громко не разговаривать"—он выругал надзирателя площадной бранью. | Выдержать в светлом карцере 14 суток. |
| 1914 Март 23 | Позволил себе наблюдавшему за ним в волчок надзирателю плюнуть в лицо и за совершенное нежелание подчиниться тюремному распорядку. | Подвергнуть наказанию розгами в кол. 30 ударов. |
| „ 28 | Неуместные разговоры с господином начальником отделения и симуляцию из себя сумасшедшего. | Лишить выписки, свидания и переписки на 1 месяц. |
| Мая 1 | Упорное нежелание подчиняться тюремным распорядкам. | Возбудить ходатайство о заключении в темный карцер на 30 суток. |

Однажды, когда Бейлин был дежурным по камере, надзиратель ударил его в лицо за то, что на стене, по которой дядька провел пальцем, была пыль. Бейлин запротестовал и получил второй и третий удар. Он поднял крик, его вытащили в коридор и там помяли, вывихнув ему при этом ребро. Бейлин обратился за помощью к доктору Рыхлинскому, тот признал вывих и поместил его на время в больницу.

Встретив как-то инспектора Сербинова, Бейлин пожаловался ему на то, что его избили. Сербинов потребовал вторичного его

освидетельствования. Рыхлинский, должно быть, отлично понимавший, чего именно добивается инспектор, хотя и подтвердил снова факт вывиха ребра, но признал его давнишнего, якобы, еще до-тюремного происхождения.

— Ага, значит ты врешь!..—вознегодовало начальство на Бейлина, оклеветавшего, выходит, мягкосердечных и кротких орловских надзирателей.—Выпороть мерзавца!..

Бейлина схватили и выпороли розгами. Столь неожиданный результат жалобы так на него повлиял, что он сошел с ума, заболев буйной формой мании преследования. Уже сумасшедшим его били несчетное число раз („чтобы дурака не валял, так и так твою мать“), множество раз сажали в карцер и глумились над ним бесконечно. Но, несмотря на общее затемнение его сознания, могучий инстинкт жизни все еще властно говорил в нем; желая добиться более мягкого отношения, Бейлин раз пятнадцать об'являл голодовку, но тщетно. Держали его в одиночестве, совершенно изолированным от кого бы то ни было. По своему душевному состоянию он не в силах был ориентироваться в окружающем и найти какой-нибудь целесообразный выход. Из темного карцера часто раздавалось его громкое бормотание, походившее не то на стон, не то на бессвязный крик

Весной 1915 г. он находился в таком ослабевшем состоянии, что его пришлось перевести в тюремную больницу. Вскоре после этого „дело ссыльно-каторжного арестанта Самуила Бейлина“ обогатилось двумя новыми документами: первый (от 4 апреля 1915 г.) заключался в рапорте тюремного врача о том, что „больной Бейлин умер от туберкулеза легких“, а второй (от 6 апреля) уведомлял кого-то о том, что „означенный Бейлин похоронен на орловском еврейском кладбище“...

В начале 1912 г. тюрьму посетил какой-то крупный чиновник Главного тюремного управления. Каторжанин Тимонин, парень смелый и правдивый, пожаловался ему на побои. Чиновник выслушал и не сказал ему ни слова, но присутствовавший при этом инспектор Сербинов заверил Тимонина, что больше его бить не будут.

Едва начальство ушло в другое отделение, как к Тимонину прибегает отделенный Богомолов.

— Ах, так и так твою...—начал он. Ты что же это, жаловаться на меня вздумал?.. Ты, болван, думаешь, что все, что я делаю, так это без ведома господина начальника... Ты думаешь, отделенный здесь такой?—тут Богомолов поднял руку на аршин от пола.—Нет, сволочь, отделенный здесь во какой!— Тут он поднял руку вверх над своей головой.—Помни же...

Через некоторое время Тимонин, спускаясь вниз с третьего этажа и будучи в кандалах, несколько отстал от своего уже рас-

кованного сожителя. Надзиратели, во всем любившие порядок, требовали, чтобы арестанты из одной и той же одиночки, выходя на прогулку, шли вплотную один за другим, отделяясь, таким образом, от жильцов другой одиночки. Богомолов подскакивает к Тимонину и со словами—„Ты что же отстаешь“,—бьет его кулаком в лицо.

В другой раз тот же Тимонин, которого Сербинов уверял, что его больше бить не будут, как-то из-за дальности расстояния не расслышал слов, сказанных ему надзирателем, и переспросил его:

— Что вы сказали?

— Не „что вы“, а „чего изволите, господин отделенный“,—вот как надо сказать!—заорал на него тот, отпуская ему пощечину.

В редчайших случаях наш централ посещал прокурор. При этом надзиратель или помощник начальника предварительно обходили арестантов и, уведомляя о приезде прокурора, требовали, чтобы те заранее выкладывали, на что именно они намерены жаловаться...



**Самуил Бейлин. Умер в Орловском централе.**

В августе 1912 г., после того как с ведома и в присутствии Синайского и Сербинова было устроено небывалое в истории русской каторги истязание 14 шлиссельбуржцев, присланных к нам на исправление, тюрьму посетил чиновник-юрист. В сопровождении того же Синайского, его помощников и целой тучи надзирателей, без всяких предупреждений о своем приезде, не говоря о том, кто он такой и зачем приехал, он обходил одиночки. После казарменного „здорово“, приезжий чиновник вялым и безразличным голосом спрашивал:

— Ты на сколько осужден?... За что?... Когда срок кончаешь?

Получив ответ на эти очень важные вопросы, приезжий поворачивался и уходил в следующую камеру. Это называется: „посетить тюрьму“. Он даже не спрашивал, есть ли у заключенных какие-нибудь заявления и жалобы. Зашел он и в 137-ю одиночку к Я. Д. Янсону, сидевшему тогда с Тимониным. Не зная, кто такой

этот чиновник, Янсон осведомился, с кем, мол, он имеет честь говорить. Оказывается, это товарищ прокурора. Тогда Янсон и Тимонин, рискуя получить новую встрепку, заявили ему о практикующейся здесь кулачной расправе.

— Что ж, жалуйтесь своему начальству,—мямлит в ответ товарищ прокурора, стоя на пороге и направляясь к выходу.

— Но начальство само дерется,—бросает ему вдогонку Тимонин.

Товарищ прокурора и Синайский весело переглянулись между собой, усмехнулись и молча вышли из камеры. Через полчаса в 137-ю камеру прибежал Калафуто, выругал жалобщиков, как водится, матерною бранью, торжественно обещал „всю морду искровянить", но пока что развел Янсона и Тимонина по разным углам нашего длинного одиночного коридора.

Раза три наш централ посетили совсем уже высокие особы, приезжал даже начальник Главного тюремного управления Хрулев. В 14-й камере общего корпуса Седов и Драханов (два человека из 1200 находившихся тогда в тюрьме) подали ему жалобу. Хрулев только и сделал, что развел руками. На следующий день Седов и Драханов были, по приказанию Мацевича, выпороты.

Не менее печально кончилась история с одним эсеровским боевиком (ныне он член ВКП(б) Борисом Дьяконовым. Когда в газетах появилась корреспонденция об орловских порядках, начальство пристало к нему, чтобы он, за своей подписью, написал опровержение. Дьяконов отказался, и тогда в течение целой недели его кулаками „убеждали" согласиться на этот компромисс. Окончательно упав духом, Дьяконов пошел навстречу домогательствам пом. инспектора Скрябина и дал подписку в том, что в Орловской каторжной тюрьме никто, никогда, никого и рукой не трогал...

Года через четыре после этого в Орел приехал преемник Хрулева—Гран. Многие, узнав об этом, готовились сделать ему ряд пространных заявлений, но начальник Главного тюремного управления „изволил посетить" лишь тех арестантов, к которым приводило его начальство. Когда же Дм. Гуменский, много раз испытавший на собственном лице и на собственной спине вес надзирательских кулаков, рассказал об этом Грану, Сербинов и начальник Колченко поспешили тут же уверить своего патрона в том, что Гуменский—с у м а с ш е д ш и й... Хватило же у них беззастенчивости.

Однажды по тюрьме распространился сенсационный слух: прибудет „сам" министр внутренних дел Маклаков. Началась невероятная суетня: чистили, скребли, полировали, наводили всюду лоск и блеск. Многим выдали свежие штаны и бушлаты, переменили соломенные подушки.

Губернатор, инспектор, помощник инспектора, начальник, все помощники его, доктор, оба фельдшера долго-долго дожидались министра, а дежурные надзиратели, одетые в новые мундиры с медалями на груди, не сходили со своих постов, хотя время для смены давно уже прошло. Наконец приехал „его высокопревосходительство“. Заглянул он в пару камер, затем в пару мастерских, посетил пару каторжан, сидевших в одиночке,—и уехал. Впечатление об орловской каторге он получил разве-что на основании рапорта начальника тюрьмы.

Было это в среду, когда полагается постный обед. Ну и обед же был. Рыбы сколько... Картошки... Все было в обильном количестве и со вкусом приготовлено. Выходит, что от приезда „господина министра“ арестанты все-таки кое-что выиграли.

Впрочем, целую неделю после этого обед представлял собою почти одну только водичку...

## Матрос Симоненко.

... Когда начальник Шлиссельбургской каторжной тюрьмы В. И. Зимберг окончательно убедился, что ему не совладать с Севастопольским матросом Николаем Симоненко [1]), он с'ездил в Петербург и и добился перевода его в другой централ.

В 1909 г. Симоненко вывезли на пароходике из Шлиссельбурга в Петербург, продержали некоторое время в „пересылке“ и потом отправили в Орел. Знали же руководители тюремного ведомства, куда перевести его.

При приемке присутствовал старший помощник Батурин. Прочитав отзыв о его поведении, он сказал:

— У нас так: месяцев шесть посидишь в камере, потом пойдешь в больницу, ну, а оттуда прямая дорога на Троицкое... на кладбище.

— Ну, это еще посмотрим..,—ответил ему Симоненко.

На следующий же день к нему, как к важному арестанту, пришел „сам“ начальник Мацевич, почти никогда не посещавший заключенных.

— Ты розги получал когда-нибудь?...—спросил он без дальных предисловий.

— Нет...

И, действительно, как ни сильно было искушение, но Зимберг, должно быть, просто боялся затронуть честь Симоненко, отлично понимая, что подобное издевательство тот не оставит без чрезвычайного, из ряда вон выходящего протеста.

[1]) Осужден в бессрочную каторгу по делу о ноябрьском восстании 1905 года.

— Так знай же,—говорит ему Мацевич,—у меня ты мало-мало сто палок получишь.

Но, должно быть, даже самые бессердечные самодуры, ни во-что не ставящие чувства другого человека, порою способны проникнуться тайным уважением к людям стойким и выдержанным, Действительно, в то время, когда кругом в Орловском централе творились невероятные гнусности, лично к Симоненко администрация относилась сравнительно хорошо, а однажды Мацевич, зайдя к нему в одиночку и поразившись его болезненным видом, приказал даже перевести его на время в больницу (обыкновенно д-р Рыхлинский принимал в больницу только тех, которым вот-вот предстоит помереть).

Когда Мацевича сменил Синайский, многие каторжане с лихорадочным интересом ждали каких-нибудь перемен к лучшему. По своей наивности они усматривали в факте смены начальников неодобрение прежнего режима со стороны Главного тюремного управления.

Особенно волновались бессрочные.

Они стали между собой поговаривать о необходимости предпринять что-нибудь и добиться отмены хотя бы наиболее бессмысленных жестокостей и наиболее оскорбительных приемов „исправления" арестантов.

Симоненко решил взять на себя инициативу.

Это было как раз в первый день „пасхи". Вопреки строжайшему запрету, он, выйдя на прогулку, стал громко разговаривать с товарищем, с котооым ходил рядом. Старший надзиратель Загородный приказал замолчать, но Симоненко не послушался. На этот раз дело кончилось ничем.

На следующий день Симоненко отказался принять паек хлеба, плохо испеченного, сырого, да еще с примесью мелкого песку. Нужно сказать, что у Симоненко был давнишний катарр желудка, и еще в Шлиссельбурге он воевал с доктором Нейманом из-за белого хлеба и больничной пищи.

Прибегает к нему старший помощник и, прочитав нотацию, многозначительно прибавляет:

— Смотри, Симоненко, плохо же тебе будет...

— Хуже худшего не бывает,—ответил тот,— ну, нескольких убьете, и я буду первым среди них... Вот что, подайте сюда начальника...

Вместо Синайского к ниму пришел другой помощник, Комаров, пожилой человек, заеденный канцелярщиной, сердитый и невоздержанный на язык.

Начал он с довольно дружелюбных уговариваний—„не волынить", но потом, войдя в свою настоящую роль, разразился грубой бранью.

Симоненко, отделывавшийся молчанием, под конец не выдержал и ответил ему в выражениях, должно быть, не страдавших чрезмерной деликатностью.

Для „его благородия", привыкшего к чрезвычайному раболепству и холуйской угодливости, резкая реплика негодующего Симоненко должна была показаться сугубо оскорбительной.

После об'яснения с Комаровым Симоненко не позволили гулять вместе с другими бессрочными. Тогда он в виде протеста, выйдя однажды на прогулку, отказался маршировать под команду: раз... два... три... четыре... левой... правой..., а также не хотел гулять именно по кругу, словно лошадь на корде. Возмущенный столь вопиющим нарушением дисциплины старший надзиратель Кукулицкий крикнул ему:

— Ты что себе позволяешь?... Кончай прогулку!...

— Мне полагается гулять 15 минут,—возразил Симоненко.— Отгуляю их и сам уйду.

Когда Симоненко кончил прогулку, надзиратель побежал с рапортом в контору, через полчаса вызвали туда Симоненко и оттуда отводят из одиночки в пустую баню. Там уже находились начальник Синайский, все его помощники и куча надзирателей.

Синайский об'являет Симоненко:

— За дерзкое обращение с помощниками и за отказ подчиниться требованию отделенного ты получишь сто розог. Если же сейчас вот в присутствии всех ты дашь мне честное слово, что впредь будешь всему подчиняться, то я тебя прощаю.

— Это неправда, будто я говорил дерзости помощнику,— возразил Симоненко.—Наоборот, он первый начал говорить грубости. Что же касается подчинения, то согласен подчиниться, поскольку это не будет унизительно для моего человеческого достоинства.

— Ага... Ты вот как!... Ты вспомнил про человеческое достоинство,—крикнул, все более свирепея, Синайский.—Снимай штаны!...

— Это дело рук палачей,—ответил Симоненко, готовясь к обороне.

По приказанию начальника, несколько надзирателей набросились на него, раздели, схватили за голову и за ноги и стали пороть розгами. До шестидесяти ударов Симоненко еще мог насчитать, но потом потерял сознание.

После экзекуции его на руках отнесли из бани назад в одиночку и бросили, как он был полураздетый, на асфальтовый пол. Потом его подняли и положили на койку.

Было это в первый день праздника „святой пасхи"...

Нужно знать Симоненко, чтобы понять, как повлияло на него это насилие. От нервного потрясения его хватил паралич левой

руки и ноги, а также паралич языка. Около месяца он не мог выговорить ни слова. Впоследствии речь к нему вернулась, но с парализованной рукой и ногой он так и остался навсегда.

Придя в себя, Симоненко, как он это практиковал уже в Шлиссельбурге, об'явил решительный бойкот всем и вся. Он не только не подчинялся разным холуйским установлениям, но даже отказывался принимать лекарства.

Находясь однажды в тюремной больнице и наблюдая маловероятные для такого учреждения порядки, Симоненко в виде протеста об'явил голодовку.

За это его перенесли на руках обратно в одиночный корпус и посадили в 48-ю камеру. К нему приставлен был особый арестант, который за ним ухаживал; сам же он круглые сутки лежал на койке без движения.

Старший надзиратель Калафуто нарочно сажал к нему для ухаживания или инонационалов, ни слова не знающих по русски, или же таких негодяев из числа русских каторжан, которые, чтобы отличиться и выслужиться, донимали несчастного Симоненко мелкими шпильками, глумясь над его бессилием.

Синайского сменил Колченко—вполне достойный его преемник, но от этого положение Симоненко нисколько не улучшилось.

Что ожидало его впереди?

Инвалид... бессрочник... расслабленный и физически и душевно... В прошлом—оскорбления, бесконечные темные карцеры, розги—эти проклятые, впивающиеся в тело и оставляющие занозы в душе—розги.

Единственную свою избавительницу Симоненко видел в смерти. Он решил уморить себя голодом. Он без всякого специального повода об'явил голодовку.

В первые дни на него, разумеется, не обращали ни малейшего внимания: не принимает еды, ну, и пусть... Еще за много лет до этого (в мае 1908 г.) Главное тюремное управление специальным циркуляром вменило в обязанность администрации игнорировать подобные случаи.

Однако, когда Колченко и доктор Рыхлинский убедились, что Симоненко затевает что-то серьезное, они распорядились перенести его обратно в больницу. Его стали кормить искусственно, но, пока силы дозволяли, Симоненко оказывал сопротивление.

...Это случилось поздней осенью. Был мокрый, холодный день. Свинцовые тучи, такие унылые и скучные, медленно, тяжело и как бы нехотя плыли по небу. Вскоре стал накрапывать мелкий и надоедливый дождь, такой противный и никому ненужный. Капли ударялись об окно больничной камеры и стекали на карниз безжизненными холодными струями. На дворе образовалась противная слякоть. Поднявшийся ветер, тоже такой унылый

и однообразный, наводил на всех нас тоску и беспредельную скуку. Так и хотелось во что-нибудь глубоко зарыться и уснуть, уснуть надолго, надолго...

Сердце ноет. В голову неотвязчиво, как липкие мухи в летний зной, лезут грустные мысли: когда же будет конец такому существованию?

Что можно еще предпринять здесь, раз не помогали ни обращения на волю, ни голодовки, ни обструкции, ни даже самоубийства, которых так много уже было в нашем централе...

Неужели здесь и окончишь дни и часы свои, сопровождаемый безразличными, а то и враждебными взорами дежурного надзирателя и тюремного фельдшера...

Мысли, словно зловещие тени, одна мрачнее другой, ползут в усталое сознание.

„Но нет. Нет—говоришь сам себе.—Не поддавайся меланхолии. Живи и борись. Захоти этого глубоко всеми атомами души своей. На зло тюремщикам отстаивай каждый шаг, каждую минуту своего существования. На зло врагам твоего класса выживи, непременно выживи, да еще так, чтобы не быть инвалидом, чтобы занять потом достойное место среди борцов за светлое будущее, когда сгинет не только самодержавие, но и эксплоатация человека человеком, когда не будет ни тюремщиков, ни арестантов. .“

Отвлекшись от своих мыслей, снова посмотришь в окно: холодные и безжизненные капли унылого осеннего дождя продолжали лениво ударяться о железную решетку, а тут недалеко происходила отчаянная борьба двух начал: жизни и смерти.

Симоненко лежал на койке и бился в предсмертных судорогах. Тело его, такое же бунтарское и мятежное, как и его дух, долго сопротивлялось натиску смерти. Но судьба его была предрешена.

... Через несколько минут в больницу зашел погреться вестовой надзиратель. Недовольный тем, что приходится в такое ненастье снова бегать в контору, он, ворча и бранясь, пошел заказывать еще один гроб, в этот день пятый по счету...

## „Не выдержал“.

Вспоминаю моего соседа Шубовича. Был он очень маленького, почти карликового роста, а густая мочального цвета бородка придавала ему вид гнома. Серые покрытые густыми бровями глаза смотрели на все и на всех испытующе и недоверчиво. Весь он был какой-то высушенный и придавленный, словно отовсюду он мог подвергнуться неожиданной напасти.

В первый раз, когда (после месячного „карантина“) я вышел на прогулку и увидел среди остальных Шубовича, то при всей го-

речи, уже накопившейся у меня, я не мог удержаться от смеха: очень уж комичен был этот сорокалетний человечек, отчаянно размахивающий руками и молодцевато отбивающий такт под беспрерывно раздававшуюся команду:

— Раз... два... три... четыре... Левой! Правой!... Раз... два!..

Впоследствии мне удалось познакомиться с Шубовичем поближе. На каторгу попал он вот за что. Какой-то его знакомый попросился к нему ночевать. Шубович приютил его, и через некоторое время они оба были арестованы. Оказалось, что переночевший у него человек скрывался от суда, как участник важного политического убийства. „За укрывательство преступника“ Шубович получил 8 лет каторги.

К своему несчастью, он был сослан в Орловскую каторжную тюрьму, да еще в самый разгар избивательской кампании. Надзирательские кулаки непрестанно были тогда в ходу, нередко и пахучие длани господ помощников, а то и самого Мацевича прохаживались по физиономиям арестантов. Издевательствам, побоям, циничному обкрадыванию, казалось, не будет предела. Кормили на редкость плохо. За работу платили гроши.

Больше всего донимали арестантов работой на так называемых „хлопках“.

Этих „хлопков“ каторжане боялись, как чумы. Судьба товарищей, которые назначались на эту работу и целыми десятками заболевали чахоткой, говорила достаточно красноречиво. Каждый старался избежать „хлопков“ или, по крайней мере, как можно реже попадать в очередную смену. Если кто просил занятий менее вредных, то в ответ следовали репрессии, так сказать, „законные“ репрессии, не говоря уже о „домашних“ мерах исправления. Припоминаю рабочего Кострицу: двухнедельный темный карцер, вторичная заковка в ножные кандалы на год и перевод в одиночную камеру, где Кострица, слесарь по профессии, содержался уже без всяких работ,—вот что следовало за его отказом работать на „хлопках“. Через несколько месяцев Кострица умер от скоротечной чахотки. Беда, если кто-нибудь из каторжан не понравится любимцу начальника тюрьмы, старшему надзирателю Степанову, лютому к арестантам и подобострастно угодливому к своему патрону.

— Ты, сволочь, на хлопках у меня и издохнешь..,—говорил в таких случаях „господин старший“. И, действительно, таких „издыхавших“ было у нас много...

Шубович знал и видел, что делают с теми, кто отказывается от этой работы: анархист Людвиг Клява был даже выпорот розгами за подобный отказ. Да и вообще в Орловском централе лишь в редких случаях кто-нибудь позволял себе роскошь ослушания приказа начальства, даже самого низшего. И вот, к удивлению и

надзирателей и арестантов, Шубович, после того,как он проработал несколько дней на канатотрепальне, набрался смелости и заявил кому следует:

— Чтоб я здесь от чахотки умер, да еще за полторы копейки в день... Ни за что. Хоть убейте, но ни за что. Давайте другую работу... Мне и самому неохота без дела сидеть, но губить себя не хочу...

Ах, сколько раз били Шубовича. Как его преследовали, как над ним измывались. Вряд ли кому выпало на долю так много побоев, так много оскорблений. Его долго и сверх срока держали в кандалах, великое число раз сажали в карцер, а он все упорствует на своем:

— Не пойду на хлопки, давайте другую работу...

Нужно самому побывать в положении орловского каторжанина того времени, чтобы проникнуться удивлением и восхищением перед стойкостью и выдержкой такого маленького и слабосильного человека, такого забитого на вид еврея.

В конце концов начальству надоело возиться с упорным живучим Шубовичем, тем более, что из провинциальных тюрем приходили новые этапы, новый материал для „исправления“. Дав Шубовичу на прощанье усиленную порцию тумаков, его перевели в одиночку и оставили в покое.

Единственно, что поддерживало в Шубовиче жизнеспособность,—это надежда на ожидавшийся по случаю 300 летия „дома Романовых“ манифест 21 февраля 1913 г.

Арестант не может не жить какими-нибудь надеждами.

У политических, особенно у „профессиональных революционеров“ были свои собственные оценки и перспективы, которые они связывали с возрождением рабочего движения. Менее сознательная масса каторжан, ввергнутая в тюрьму волной террора, легче поддавалась безнадежному пессимизму или же, наоборот, тешила себя упованиями самого фантастического свойства. Питательной средой для таких упований являлись уголовные, которые из года в год жили надеждами, что в таком то месяце, по такому-то поводу (юбилей „отечественной“ войны 1812 г. или всевозможные торжества в царской семье) непременно жди „манифеста“.

На этот раз надежды на манифест 21 февраля 1913 г. разделялись и многими политическими. Приходившие с этапов товарищи передавали массу новостей и вариантов этого рода, толкуя слухи об амнистии, как вынужденную уступку правительства требованиям рабочей и радикальной общественности. Сама тюремная администрация также готовилась к более или менее массовому освобождению каторжан. Из архивных данных известно, что еще зимой 1912 г. начальник Главного тюремного управления, Хрулев, затребовал

от начальников местных централов „представления списков каторжан, кои по болезни и хорошему поведению могли бы рассчитывать на облегчение своей участи в путях монаршего милосердия“ [1]).

Что касается Шубовича, то все пережитое им в Орле до того ослабило в нем чувство сопротивления и готовности к дальнейшей борьбе, что он десятки раз высчитывал заранее, когда выйдет на волю в случае, если сбросят половину или три четверти срока, что будет делать дальше, как устроит свою жизнь в Сибири и т. д.

Наступило, наконец, 21 февраля 1913 г. Надзиратель торопливо открывает двери наших одиночек и, не об'ясняя в чем дело, выкрикивает:

— Выходи... Становись около церкви...

Шубович с лихорадочно блестящими глазами и покрасневшим лицом не пошел, а прямо побежал в конец коридора, где около церковной площадки стояла уже толпа каторжан срочных и бессрочных. По одной стороне площадки находились арестанты в своей грубой, уродливого покроя одежде, в ножных (а бессрочные и в ручных) кандалах, с серо-желтыми, изможденными, бескровными лицами, нервные и волнующиеся, со сверкающими особенным огоньком глазами. Немного поодаль от них за железными перилами стояла высшая тюремная администрация: помощник инспектора, начальник тюрьмы и его помощники. Внизу же на коридоре первого этажа собрано было человек 50 надзирателей с раскрытыми кобурами. Они весело между собою разговаривали.

Среди арестантов, хотя помнивших, что в присутствии начальства нужно стоять молча и неподвижно, все время шло глухое и суетливое перешептывание. Даже мы, скептики из политиков, все время смеявшиеся над теми, кто ожидал от властей чего-либо хорошего, даже мы на момент (только на момент) усомнились в своем скептицизме: до того всем хотелось верить в то, о чем так сильно мечталось. Глаза всех были обращены на маленького, тщедушного прокурора, который стоял рядом с помощником инспектора и держал в руках какую-то бумагу.

Воцарилась мертвая тишина. Сердца учащенно забились, а насторожившееся ухо готовилось услышать радостную весть, если не

---

[1]) Как вспоминает т. А. Н. Черкунов, администрация (в данном случае Смоленского централа) сама поддерживала слух об амнистии и незадолго до юбилея дома Романовых как-то даже помягчела, реже стали слышаться окрики, меньше применялись розги. Слышались и такие разговоры: „Вот, Петров, ты в феврале уйдешь на свободу, а кто же буфет закончит“. Действительно, администрация воздерживалась от приемки крупных заказов (для столярной мастерской) до выяснения положения вещей („Пути революции“, 1927 г. № 1).

о полном освобождении, то хоть о сокращении срока. Каждый мысленно переживал в одно мгновение протекшие годы тюремного сидения, все эти мучительные обиды, это нудное, надрывающее душу томление, всю эту жизнь в неволе, с ее тусклым однообразием и безысходной тоской... Каждый с ужасом думал: „неужели завтра будет то же, что и сегодня... Неужели вот и сейчас, через минуту, ему, исстрадавшемуся арестанту, не будет сказано слово облегчения".

— Смирна-а-а...—крикнул отделенный Бывших, получив соответствующий знак от Синайского.

Привыкшие к механическому исполнению приказаний, арестанты моментально прекратили разговоры, опустили руки по швам и впились глазами в товарища прокурора. Как будто чего-то стыдясь, кашлянув несколько раз и часто запинаясь, товарищ прокурора огласил текст „Высочайшего Указа Правительствующему Сенату".

Чем больше мы вслушивались в его чтение, тем больше росло наше изумление. Оказалось, что кроме осужденных за изнасилование женщин, за изготовление фальшивых монет, за мошенничество и за простые убийства—никто из каторжан скидки не получил... О политических, даже если они имели бессрочную, не сказано было ни слова.

„Статья" Шубовича также не подошла под манифест... Это страшно придавило его. Исчезло единственное, что поддерживало в нем бодрость и жизнеспособность. Лицо его, и без того бледно-желтое, стало почти совсем мертвенным. Как и многие другие, особенно из долгосрочных, оставшихся на прежнем положении, Шубович сразу опустился, обессилел, стал часто прихварывать, редко оставлял одиночку, а когда и выходил на прогулку, то был настолько слаб, что не мог уже маршировать под команду раз... два... три... четыре... Проникшись к нему жалостью, старший Калафуто на свой риск разрешил ему гулять отдельно вдоль стены, а не вместе с нами по кругу.

Мне хотелось чем нибудь помочь Шубовичу. Зная, что он до крайности самолюбив и застенчив, что, несмотря на сильную нужду, он никогда ни у кого из заключенных ничего не попросит, я решил преподнести ему маленький сюрприз.

Выждав кануна „пасхи", я послал свое очередное письмо некой Раисе Львовне Каган, которая, будучи активным работником петербургского „Политического красного креста", вела в качестве фиктивной „сестры" переписку и посылала деньги многим каторжанам и каторжанкам. В письме я попросил ее прислать непосредственно Шубовичу немного денег и кроме того устроить так, чтобы „Красный Крест" [1]) и в дальнейшем посылал Шубовичу ре-

[1]) Им в то время заведывала Аделаида Михайловна Пумпянская-Поливанова, старая народоволка, замечательная по чуткости женщина, имевшая при себе целый штаб курсисток вроде упомянутой Раисы Львовны Каган, Рахиль Николаевны Покровской и др.

гулярную субсидию. Все это я изложил в несколько замаскированном виде и сдал письмо в контору.

Прошло после этого дней десять. Однажды меня неожиданно вызывают вниз в кабинет старшего надзирателя нашего одиночного корпуса. Там за столом, покрытым серым арестантским одеялом, сидел заведующий корпусом помощник начальника Плетнев, высокий молодой человек с большим скучным лицом, длинным, слегка вздернутым носом и унылым взглядом больших невыразительных черных глаз. До поступления в тюремные помощники он был студентом. К нам он прибыл из Харькова.

Вхожу, становлюсь во фронт и жду, что будет дальше. Перед Плетневым на столе лежит кучка новых почтовых марок, вырезанных из конвертов. Я сразу соображаю, что это от конфискованных им писем.

— Фамилия?— спрашивает Плетнев, не оборачиваясь. Я назвал.

— Ага... скажи Шубовича знаешь?..

— Знаю. Он сидит на третьем этаже рядом со мною через камеру.

— Он что же, родственник твой, брат, сват? — произнес помощник, повышая голос и все еще не удостаивая меня взглядом.

— Не брат и не родственник,—возражаю я, догадываясь уже в чем дело,—а просто больной и несчастный человек.

— А ты здесь кто?.. Адвокат?.. Тебе какое до него дело?.. Ты здесь первый раз?.. Не знаешь, как письма писать?.. Ишь как расфилософствовался!.. Торчи над его письмом!..—не унимался его высокоблагородие.

После маленькой паузы сей бывший студент, весь раскрасневшийся и злой, поднялся со стула и прокричал мне, на этот раз глядя прямо в лицо:

— Слушай... твое письмо я разорвал, а если еще раз станешь философию в письмах разводить, то и вовсе лишу переписки... Понял?.. Ступай!..

Здесь требуется маленькое пояснение. Дело в том, что, по правилам, выработанным Главным тюремным управлением, каторжанин может переписываться и получать письма и деньги только от самых близких кровных и при том законных родственников. Однако, в действительности распоряжение это на местах не везде и не всегда соблюдалось, и деньги, пересылаемые каторжанину в тюрьму, принимались не от одних только законных родственников. Вообще же соблюдение этого правила, как и всех других распоряжений высшего начальства, зависело всецело от того, человек или же только тюремщик—тот помощник начальника, который заведывал данным отделом. Иной сразу передаст деньги по назначению, а другой, ретивый служака, получив с почты по-

вестку с неподходящей фамилией отправителя, предпримет целое расследование, а то и просто отошлет повестку обратно, не уведомляя даже об этом заинтересованного арестанта.

Плетнев и оказался таким ретивым служакой. Благодаря его усердию, я лишился письма (больше одного раза в месяц и больше чем на одном листочке писать не полагалось), а Шубович лишился возможной поддержки, столь необходимой ему. Нелегальной переписки с волей у меня тогда не было и устроить это небольшое дело как-нибудь иначе я не мог.

Шубович был серьезно болен и почти каждый день вызывал фельдшера. У Шубовича быстро развивался туберкулез, а доктор только то и делал, что кормил его порошками да поил каплями. Шубович требовал улучшенной пищи, просился в больницу, но так как нельзя было с уверенностью решить, что он умрет в скором времени, то его в больницу не брали. На этой почве у него происходили частые пререкания с фельдшером, грубым и ворчливым стариком, прошедшим курс медицины в солдатском лазарете, чуть ли еще не во времена очаковские.

Однажды днем Шубович вызвал отделенного надзирателя Богомолова. О чем у них шел разговор, не знаю, только из своей одиночки я услышал обычную брань тюремного дядьки, а затем и столь обычные у нас звуки удара по щеке. Вечером дежурным по тюрьме был старший помощник начальника Симашко, типичный администратор орловской формации: грубый, надменный, всегда смотревший зверем, собственноручно бивший арестантов, а в качестве заведующего мастерскими беззастенчиво обкрадывавший работавших там каторжан.

В одиночном корпусе поверка, обыкновенно, делалась через форточку, но на этот раз Симашко зашел к Шубовичу прямо в камеру. Шубович долго, громко и возбужденно на что-то жаловался и под конец разрыдался. В чем дело, я не мог разобрать, как ни прислушивался: Шубович говорил торопливо и захлебываясь. В результате он почему-то очутился в карцере. Никто — ни его ближайшие соседи, ни всеведущие коридорщики не могли об'яснить толком, за что Симашко посадил его в темную.

Дня через два на утренней поверке произошла маленькая заминка. Открывается дверь первого карцера. Отделенный Богомолов, по обыкновению, кричит: „Смиррно-о.. Один...“ и хочет уже пройти к следующему карцеру, но остановился, зашел в темную и заорал:

— Ты чего лежишь?... Сво-о-лочь!... Не слышишь, что поверка идет?.. Вставай!.. Тебе говорят!..

Но Шубович не вставал. Тогда в карцер заходит помощник и сопровождающие его, как всегда, старший Калафуто и дежур-

ный по тюрьме надзиратель. Через несколько минут все они выходят и, как ни в чем не бывало, продолжают свое дело.

— Один... Два... Три... Пять... Семь...—снова раздался голос отделенного, считавшего арестантов.

Не встал же Шубович на поверку потому, что был мертв.

Обыкновенно перед тем, как посадить каторжанина в карцер, у него отнимают не только ремень от кандалов, но даже носовой платок и портянки. Не знаю, чем именно обосновывали это правило ученые теоретики тюремного дела: желанием ли усугубить наказание или намерением предупредить возможность самоудушения. Если последним, то цель этим не достигается, так как арестант, дошедший до такого полупсихопатического состояния, почти всегда найдет способ лишить себя жизни [1]).

В наших орловских карцерах, кроме низенького деревянного помоста на асфальтовом полу, насквозь провонявшей парашки и медной кружки,—нет ничего другого. Раздобыть что нибудь вроде веревки, так же, как и привязать к чему нибудь петлю, там решительно невозможно. Остается предположить, что Шубович оторвал лоскут своей арестантской рубашки, сделал из него петлю и задушил себя собственными руками...

До какой степени отчаяния должен был дойти этот человек, до чего он должен был упасть духом. Но, в то же время, до чего должна быть у него сильная воля, чтобы таким образом уйти из орловского ада, уйти из „образцовой тюрьмы его величества“...

[1]) Подобные случаи самоубийства встречались и раньше в царских тюрьмах. Декабрист Сухинов, приговоренный к 400 ударам кнутом и к расстрелу за попытку устроить побег всех своих товарищей по каторге, в ночь перед экзекуцией, привязал ремень от кандалов к деревянному колу под нарами и почти в лежачем положении удавился.

Немало таких случаев было с арестантами и в наши годы. Известен случай с молодой курсисткой Дорофеевой, посаженной в 1906 г. в Петропавловскую крепость по делу петроградских максималистов. Узнав о казни своего мужа-студента, она сперва впала в забытье, а очнувшись, устроила подставку из четырех раскрытых томов об'емистой „Истории искусств“ П. Гнедича, подобралась к форточке высокого окна каземата и, как говорили, повесилась на собственной косе.

В апреле 1907 г. политический Шахов, сидевший в губернской тюрьме в Москве, повесился на веревке, сделанной из ниток, выдернутых из белья.

Другой заключенный, Бердягин, в том же году перерезал себе горло посредством отточенной чайной ложки.

В Риге политический Зайончковский зарезался жестянкой от коробки из под килек. В Нижнем Новгороде в октябре 1908 г. некий Едруков проколол себе сердце самодельной железкой.

В Тамбове в марте 1909 г. один уголовный перерезал себе артерии на обеих руках посредством отточенного кончика стального пера. В том же году в Киеве один арестант повесился на тюремной решетке, привязав к ней свой кандальный ремень.

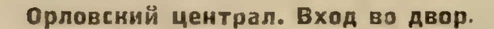
Случаи этого рода были многочисленны. Да и наш Орловский централ мог бы многое поведать на эту тему.

# Неисправимые шлиссельбуржцы.

Среди тысячи каторжан, находившихся в Орловском централе, в том числе среди 200-300 „политиков“, далеко не все попали туда „самотеком“, в обычном для всех каторжан порядке, т. е. более или менее случайно. Очень большое количество их направлялось в Орловский централ согласно специальному решению Главного тюремного управления. Последнее поставило себе целью собрать в одной тюрьме, если не всех, то значительную часть тех каторжан, которые на языке тюремного начальства носили название „неисправимых“, „строптивых“ „дурно влияющих“ на остальных арестантов“ и т. д. Орловский централ и должен был служить тем „чистилищем“, пройдя через которое, каторжанин и выходит вполне „исправившимся“, если только он вообще выживет.

Интересно проследить, как именно сами тюремщики формулировали соображения, побудившие их пересылать в Орел на „окончательное исправление“ тех или иных каторжан.

Перед нами отношение от конца декабря 1911 г., в котором начальник Рижской тюрьмы следующим образом аттестует поли-


Орловский централ. Вход во двор.



тических, переводимых в Орел по распоряжению Главного тюремного управления:

1. Янсон Яков Давидович
2. Бегге Карл Михелевич
3. Эшаутский Мартин
4. Перенд Генрих
5. Лабренц Кристов
6. Алкснис Кристоп

Всегда настроены враждебно к администрации и надзору. Часто выступают с претензиями от имени всей каторги. Популярны у товарищей.

Надо сказать правду: тюремщики нисколько не ошибались в своей аттестации. В отношении, например, большевика Я. Д. Янсона известно, что и по переводе в Орел он ничуть не отделался от своих „зловредных" качеств, участвовал в протестах и обструкциях, сидел в темном карцере и т. д. [1]).

Любопытна также характеристика, какую ломжинский губернатор дал двум революционерам, также переотправленным в Орел. Так, в отношении от 21 мая 1910 г. относительно Ивана Мичурина [2]) и Бронислава Весоловского [3]) говорится:

„Оба они являются подстрекателями других арестантов к проявлению разных неосновательных требований. Они состоят крупными деятелями среди революционеров и имеют много единомышленников, которые могут оказывать содействие к побегу арестантов".

Характеристик этого рода можно было бы привести многие десятки.

---

[1]) После Февральской революции 1917 г. Я. Д. Янсон и Карл Бегге играли видную роль в социалистическом строительстве. Янсон был председателем Иркутского совета рабочих депутатов, уполномоченным Комиссариата иностранных дел в Сибири и на Дальнем Востоке, зав. восточным отделом НКиндел, работал в качестве торгпреда в Японии, был председателем Аркоса в Лондоне.

Тов. Бегге был начальником Ленинградского порта, потом торгпредом СССР в Берлине и т. д.

Если бы орловские тюремщики, в руках которых находились и такие революционеры, как Феликс Дзержинский, могли предвидеть, кем впоследствии сделаются сосланные к ним „на исправление" каторжане, они постарались бы ускорить их отправку на тот свет.

[2]) Ив. Мичурин—студент, осужденный по делу максималистов, выделялся своими душевными качествами. Впоследствии он скончался в Орловском централе, не выдержав тягости режима. Из Ломжинской тюрьмы он был переведен за участие в голодовке-протесте против избиения одного политического, у которого нашли газету.

[3]) Бронислав Андреевич Весоловский (1870-1918) старый деятель польской соц.-дем., друг Розы Люксембург и Тышко. Около 10 лет находился в якутской ссылке. После Февральской революции работал при ЦК большевиков. В декабре 1918 г. во время поездки в Варшаву был расстрелян польскими жандармами, несмотря на то, что числился офиц. председателем советской миссии Красного Креста.

Прежде чем перейти к описанию 14 шлиссельбургских политкаторжан, остановимся еще на одном отзыве, какой тюремный инспектор Саевич дал о тов. А. Поддубовском [1]) при отправке его в Брянскую уездную тюрьму из Орла, куда он был переведен в качестве одного из руководителей псковской голодовки.

„Господину начальнику Брянской тюрьмы, 20 октября 1915 г. № 11629.

„Арестант Иван Перников относится к числу людей, умеющих по первым наблюдениям произвести впечатление арестантов спокойных и вполне подчиняющихся всем правилам тюремного режима. Между тем этот тип арестантов, подчиняющихся тюремной дисциплине лишь пассивно, т. е. по принуждению, всегда находящихся в оппозиции ко всякой власти. Поставленные в общение с другими заключенными, они обычно пользуются авторитетом, сейчас же начинают агитацию о неподчинении тюремным правилам; в этом они считают свое назначение“...



Бронислав Весоловский в Орловском централе.

Надо сказать, что с точки зрения „плохого поведения“ упомянутые выше товарищи не могли похвастаться такой славой, какой пользовались „неисправимые смутьяны“ вроде саратовского крестьянина Ив. Короткова, б. офицера из Киева Бориса Жадановского, севастопольских матросов Антона Конупа и Захара Циомы, учителя Карла Лукса, жел.-дор. ученика Вилис Шмидта, старого большевика, подпольщика с 1904 г. — Ильи Ионова и др., которых доставили из Шлиссельбурга в связи с целой полосой протестов (массовая голодовка) против порки розгами и ряда других безобразий, царивших в Шлиссельбургской каторжной тюрьме. Многие из этих протестантов еще до Шлиссельбурга успели уже побывать в других каторжных централах, где они вполне „заслужили“ те преследования, которые на них сыпались по инспирации Главного тюремного управления.

[1]) Александр Львович Поддубовский был арестован в конце 1906 г. и осужден под фамилией „Иван Перников“ по делу 44 максималистов на десять лет каторги. В настоящее время член ВКП(б).

16 июля 1912 г. Начальник Главного тюремного управления уведомил орловского губернатора о предстоящем переводе в Орловский централ

„14 ссыльно-каторжных арестантов, которые оказались главными участниками демонстрации 8-9 июля и подстрекателями к неисполнению правил тюремной жизни в означенной тюрьме. В целях ослабления вредного их влияния на других арестантов Главн. тюремн. управление признало необходимым перевести этих арестантов в Орловскую временную каторжную тюрьму, о чем одновременно с сим сделано распоряжение".

Что же это за „демонстрация", имевшая место в Шлиссельбургской крепости?

Уведомляя того же орловского губернатора о предстоящем переводе 14 шлиссельбуржцев, с.-петербургский губернатор поясняет, что „упомянутая демонстрация имела целью отмену телесных наказаний".

Официальная реляция эта в лучшем случае отличается чрезмерной краткостью. Поэтому предоставим здесь слово одному из участников описываемой „демонстрации", который побывал сперва в Шлиссельбурге, затем в Орле и был переведен потом в Бутырки. Речь идет о письме, которое ходило по рукам в общем корпусе Московской каторжной тюрьмы, попало на волю и было помещено в петербургских газетах. Судя по тексту, помещенному в 1-м номере сборника „Музей революции" (Петроград, 1923 г., стр. 84-90), автором этого письма является Илья Ионов...

... „Восьмого июня в одной из камер 4-го корпуса не приняли ужин, так как в баке была одна вода. Несколько человек, не принявших пищу, были посажены в карцер, а все остальные были переведены на карцерное положение во второй корпус. 10 июня во втором корпусе пом. нач. Любенецкий назвал одного заключенного „мерзавцем", камера запротестовала и была также посажена на карцерное положение.

Каким-то путем все стало известно в Петербурге, и для расследования приехал инспектор Главного тюремного управления Лучинский. Приехал он через неделю после того, как один каторжанин ударил тюремного врача, — первостатейного мерзавца. Обходя камеры, Лучинский собирал жалобы, спрашивал, кто подписывал коллективное заявление, говорил обычные речи на тему, что каждый должен говорить только за себя, сказал, что подписавшие заявление понесут наказание, но легкое, и что он тщательно все расследует.

Заходил он и к нам в одиночки 4-го корпуса, где сидели: Владимир Лихтенштадт, Борис Жадановский, Алексей Сапожников, Пеленкин, Канторович, Лалаянц, Лявгмин, Кузнецов (московский), Дорофеев, Шарапа, Билибин, Иван Бурков, Энгельгардт, Петров и Илья Бернштейн. У нас заявили о скверной медицинской помощи Между прочим, Петрова (доктора) он велел посадить на 14 суток в карцер за то, что Петров не ответил ему, когда Лучинский обратился к нему на „ты". Уезжая, Лучинский, очевидно, подбодрил Любинецкого, так как 20 июня он велел выпороть Прожогина, Богданова и Бузинова из посаженных на карцерное положение

Об этом большинство узнало лишь 30-го, и все снова заволновались. Посыпались предложения, записки, меры протеста, и в результате 7 июля утром не встали на поверку 200 человек, выставив следующие требования:

1) отмена порки, 2) отмена 30-суточных карцеров, 3) удаление Любинецкого, 4) своевременная расковка и выпуск в вольную команду, 5) улучшение медицинской помощи и ряд других требований второстепенного характера.

В 11 часов стали брать в карцер. В карцерах 4 го корпуса сидели все работавшие на клумбах..., из одиночек 3-го корпуса Вороницын, Антон Конуп, Письменчук, Циома и Барышев. Другие были рассажены по карцерам 2-го корпуса по двое, и остальным было об'явлено карцерное положение. Все получили по 30 суток.

9-го приехал для расследования новый тюремный инспектор. Он также записывал все заявления. Был и у нас в карцерах; спрашивал каждого, по какому поводу в карцере, и каждый говорил довольно долго, заявляя, что будет протестовать после каждой порки. После его ухода в карцерах стали давать вместо 2 фунтов—2½ фунта хлеба, ежедневно горячую воду и соль, выдали подкандальники, платки, портянки и пояса. Случайно мы узнали, что, обходя 2-й корпус, он обещал некоторым требования удовлетворить. В ночь на 17 мая в 3 часа я услышал, как открыли соседний карцер и старший вызвал Билибина и Буркова. Затем выпустили Бернштейна и Жадановского. Всех нас повели в контору и об'явили, что по распоряжению Главного тюремного управления отправляемся в Орел на исправление за участие в подаче коллективного заявления. Привели еще 10 человек. В полчаса нас переодели, заковали в наручники и сдали конвою".



**Карл Лукс. Отбывал каторгу в Шлиссельбурге и Орловском централе. Участник гражд. войны в Забайкальи. Умер в 1932 г.**

21 июля в Орловский централ были доставлены Борис Жадановский, Иван Коротков, Илья Ионов, Антон Конуп, Захар Циома, Моисей Шеенсон, Вилис Шмидт, Николай Билибин, Иван Некрасов, Карл Лукс, Василий Тимошечкин, Григорий Курочкин, Евстафий Купченко и Иван Бурков.

Несмотря на совсем недавно пережитые мытарства, они чувствовали себя очень бодро, перешучивались между собою и (как с негодованием отмечает рапорт начальства) „все время громко смеялись".

Невероятно грубое обращение, наглое тыкание, бессмысленные придирки сразу же вызвали протест со стороны некоторых шлиссельбуржцев. С этого и началось...

В архиве Орловской каторжной тюрьмы имеется целое „дело" по поводу событий, последовавших после того, как хулиганские выходки кого-то из надзирателей вызвали возмущенную реплику кого-то из вновь прибывших политкаторжан.

Среди официальной переписки имеется письмо одного из шлиссельбуржцев, напечатанное целиком или в выдержках в подпольных (Бурцевское „Будущее“ („Авенир“), выходившее в Париже на русск. и франц. языках) и легальных газетах („Правда“, „Луч“, „Столичные отклики“, „Речь“ и „Биржевые ведомости“).

Приводим этот документ.

„... Нас выстроили в ряд. Выходит один из помощников и говорит: — Выходи, кто требовал вежливого обращения...

Вышло несколько человек. Их окружили. Тогда остальные также заявили, что претендуют на вежливое обращение, и присоединились к тем. Всех нас под конвоем отвели в баню, заранее наполненную стражей. Тут же стоял помощник начальника и курил. Воды давали не более одной шайки. Нас очень торопили, слегка толкали. Потом повели в одиночный корпус.

Прошла поверка. Я сел за стол и пытался уснуть, как услыхал в коридоре щелкание замков. Вошли ко мне старший помощник и надзиратели, спросили фамилию, написали ее мелом на наружной стене двери и тут же стали поспешно развязывать веревку брезента, привязанного к железной раме койки. Забрали брезент и веревки и ушли. Слышно было, что также делали и в других камерах.

— Зачем им понадобились столь экстренно брезент, веревки? — недоумевал я. —Неужели кто нибудь успел уже повеситься?...

Вдруг мои размышления были прерваны громкими криками: „ой, ой, караул... бьют!..“

По голосу я узнал Конупа. Слышна была возня, лязг кандалов, хриплые крики. Поискав кругом что-нибудь подходящее и не найдя ничего, я начал стучать в дверь кулаками. Я думал отвлечь своим стуком надзирателей от избиения Конупа, но, к моему удивлению, на мой стук никто не пришел. Конупа продолжали бить [1]).

Наконец он перестал кричать, только стонал, но вскоре и стоны прекратились.

Вот кто-то пробежал мимо моей камеры. Слышу как кто-то открывает кран и наливает воду. Я заключил, что это Конупа приводят в чувство.

После этого по топоту ног и шуму, по щелканию замков я понял, что от Конупа ушли и перешли к другому. Раздались новые крики до того отчаянные, что я удивился, как это взрослый человек может так кричать. Мысли о систематическом истязании у меня не было. Я думал об обычной кулачной расправе.

Обойдя человек шесть, толпа надзирателей перешла к одному из товарищей, за которым следовал я. Когда истязали соседа, кто-то подходил к глазку моей одиночки и говорил:

— Ишь сидит, сволочь. Вот собака!...

Наконец умолк мой сосед и пришла моя очередь. Я заранее решил не кричать и, когда меня ударили сбоку по шее, я отшатнулся, но промолчал. Тогда меня схватили—один за плечи, другой за ноги и, подняв кверху, ударили грудью о пол. Я невольно застонал. Помощник начальника сказал с иронией:

---

[1]) Начали с Конупа, очевидно, по следующей причине. Когда выходили из бани, помощник начальника ошибочно скомандовал „налево“, тогда как надо было „направо“. Конуп и заметил вслух: — Командовать беретесь, а команды не знаете, а еще офицер!..

Антон Конуп—матрос Черноморского флота, имел 10 лет каторги за участие в Севастопольском восстании в ноябре 1905 г. Находясь под большим влиянием Симоненко, Конуп еще в 1906 г. примкнул к нашей арестантской вольнице, участвовал во всех бунтах и протестах в Смоленском и Шлиссельбургском централах.

После Октябрьской революции Конуп участвовал в гражданской войне и погиб в боях с белыми.

— Ага, по-французски заговорил! Вежливого обращения захотел! Собака!

Кто-то сидел у меня на плечах и веревкой крутил руки, а другой сгибал ноги. Я все же не сопротивлялся. Возились они молча, а я лишь изредка стонал. Лицом я лежал на полу и кто-то ткнул меня носком сапога прямо в лицо. Очевидно, с досады на то, что я молчу, он начал бить ногами в спину и в бок. Сил молчать уже не было, и я закричал от боли. Посыпались остроты. Кто-то из помощников осветил мне лицо лампой, взял пальцем за нос и говорит:

— Ну-ка, погляжу его морду...

Подождав с минуту, он что-то сказал надзирателям и меня, как это уже было в начале, еще раз подняли вверх и бросили на пол...

Я оставался на полу связанным в виде калача: руки назад привязаны к ногам, согнутым в коленях тоже назад. Пошевельнуть хоть одним пальцем я не мог без резкой боли.

Часа два после этого всех избитых обходил помощник с фельдшером. Когда пришли ко мне, помощник сказал:

— Спит, сволочь!

Фельдшер ткнул меня ногой в спину, потом рванул за связанные руки. Я застонал... Попросил воды. Дали воду и даже сняли веревки. Когда велели подняться, я не мог, руки и ноги отекли и распухли. Меня подняли и кое-как поставили.

— Ну вот, сволочь, ты и стоять перед начальством не умеешь,—сказал один из надзирателей, и начал вытягивать мне руки по швам. Я закачался от боли.

Должно быть, из снисхождения меня веревками снова не завязали, а одели в смирительную рубаху. Снова бросили на пол и ушли. Лишь на следующий день сняли эту рубашку и стали об'яснять: пол должен блестеть как зеркало; посуда гореть как огонь; титуловать начальство надо „ваше благородие", но никоим образом не „господин начальник" или „господин помощник"; становиться во фронт, как только начнет открываться дверь или кто-нибудь посмотрит в глазок" [1]).

С теми или иными вариантами то же самое проделывалось и с остальными шлиссельбуржцами.

Как мы это увидим ниже, это массовое избиение политкаторжан было заранее организовано администрацией централа и Губернской тюремной инспекцией. Все же каждая из этих инстанций, а также губернатор и Главное тюремное управление поспешили информировать друг друга обо всем происшедшем.

В изложении тюремного инспектора Н. Сербинова дело представляется в таком виде:

„Ссыльно-каторжный Шмидт оставался сидеть, когда вечером сейчас же после приемки к нему зашел дежурный помощник начальника; Шмидта принудили силой подняться, он поднял крик, на что почти моментально отозвались остальные прибывшие из Шлиссельбурга арестанты. Они стали бить в двери; тогда немедленно были вызваны запасные надзиратели. Для быстрого прекращения беспорядка и во избежание того, чтобы таковой не перебросился на ос-

---

[1]) В 1923 г. письмо это было перепечатано в цитированном выше ленинградском сборнике „Музей революции". Судя по одному отрывку из напечатанного здесь текста („каторгу я имел за побег с насилием над стражей"), автором этого письма является Николай Билибин, бывший реалист, бежавший в 1908 г. из Тихвинской тюрьмы.

тальные камеры одиночного и главного [1]) корпуса, пришлось прибегнуть к усиленной и быстрой мере. Лишь после такой меры и спустя некоторое время арестанты успокоились".

В заключение своего рапорта в Главное тюремное управление инспектор Сербинов считает „долгом присовокупить, что, благодаря умелым, спокойным и быстро принятым мерам порядок в ночь на 22 июля ничем не был нарушен, а администрация и стража действовали хладнокровно и образцово".

„Его высокородие" стыдливо умалчивает, что это за „усиленные и быстрые меры", к которым прибегли надзиратели в присутствии начальника тюрьмы, его помощника и и. д. тюремного инспектора.

Интересен еще рапорт начальника тюрьмы М. Синайского. Этот высказывает особое возмущение тем, что Жадановский, Коротков, Лукс и Шмидт

„решили прибегнуть к особому виду протеста, именно, начать голодовку Идет уже 16-й день, как они отказываются от пищи, кроме воды и соли. При входе к ним в камеры начальства они не хотят вставать, требуют, чтобы администрация и надзиратели обращались к ним на „вы" и проч., а Жадановский бросился на надзирателя, заставившего его встать на место, указанное мною во время поверки... Голодающие питаются искусственно медицинскими средствами, питательными клизмами... По отзыву врача арестанты Лукс и другие теперь грубо говорят с ним, пред'являют разные требования и протесты против искусственного питания. К сему присовокупляю, что означенные арестанты расположились в больнице в особых палатах и изолированы друг от друга".

Лишь в середине октября, т. е. спустя три месяца, в легальной и нелегальной печати стали появляться отрывочные известия о том, что происходило в Орловском централе в ночь на 22 июля.

„Несмотря на разоблачения с думской трибуны, несмотря на заявления тюремного ведомства на заграничных конгрессах,—писали газеты,—в наших каторжных тюрьмах существуют средневековые застенки, в которых людей бьют смертным боем, в которых издевательство над личностью преступника является основой тюремного режима".

Газетные разоблачения вызвали новую, еще более обширную переписку между петербургскими и орловскими властями. При всем пренебрежении и презрении начальства к левой печати, все же отолгаться как-нибудь на эти разоблачения надо было.

Изучая эту переписку, с интересом наблюдаешь, как тюремные администраторы разных рангов, будучи прекрасно осведомлены об истинном положении вещей, старались все же втирать друг другу очки, успокаивали друг друга фикциями о соблюдении

---

[1]) Вздорность этого последнего указания станет ясной, если вспомнить, что главный корпус совершенно изолирован от одиночного, отделен от него двумя дворами и заборами.

законности и деланными возмущениями по поводу „клеветы“ на администрацию централа („персонал тюрьмы хорошо дисциплинирован и не мог позволить себя издеваться, так как закон свят“ и т. д.).

В рапорте № 23 от 17 декабря 1913 г. тюремный инспектор Сербинов, угадывая желание начальства и делая вид, будто сам он серьезно верит тому, что пишет, докладывает:

„События, послужившие темой для газетных заметок, связаны с попыткой устроить беспорядки в Орловской каторжной тюрьме 21 июля с. г Пятеро каторжан, заявивших „требование“ в обращении с ними на „вы“, должны были быть посажены в карцер, но к ним присоединились и остальные, требовавшие, чтобы и их посадили в карцер, так как они тоже не будут отвечать на вопросы, если к ним будут обращаться на „ты“. Все эти разговоры с помощником велись наглым, вызывающим и насмешливым тоном, таким тоном, который чины администрации и надзоро никогда не слышали от заключенных Орловской каторжной тюрьмы“.

**Ал. Поддубовский. Отбывал каторгу в Шлиссельбурге и Орловском каторжном централе.**

В последнем утверждении Сербинов несомненно прав: как ни скромны, как ни сдержанны были реплики и возражения шлиссельбуржцев, они могли показаться неслыханно дерзкими совершенно обнаглевшим орловским тюремщикам, привыкшим к рабской покорности со стороны подавляющего большинства каторжанской массы.

Господин тюремный инспектор негодующе продолжает:

„В бане они вели себя еще возмутительнее... на все выражали свое неудовольствие: и воды мало, и мыла мало, и холодно в бане, и мочалки нехороши... А когда в предбаннике их обыскивали, арестанты не давали себя обыскивать, заявляя, что никаких позорных операций они не позволят над собой“.

Дальше Сербинов, очень подробно останавливаясь на поведении Короткова, излагает с начальственной точки зрения последующие события и как ни в чем не бывало продолжает:

„Опасаясь, что прибывшие из Шлиссельбурга могут произвести беспорядки, начальник тюрьмы приказал приготовить на всякий случай по три полотенца на

каждого из вновь прибывших арестантов, дабы при первой же попытке с их стороны произвести беспорядки, тотчас же их перевязать и завязать им рты, если они будут кричать. Смирительные рубашки, которые по закону могут быть одеты на буйствующих арестантов, были недостаточно крепки, как это выяснилось при их осмотре... Когда же при связывании кричавших арестантов заготовленные полотенца оказались недостаточно длинными, то в силу необходимости пришлось употребить в дело веревки от коек, которыми быстро и были перевязаны поочередно 12 человек вновь прибывших. Связывали каждого по шесть надзирателей, делая это по приказанию срочно прибывшего в тюрьму начальника тюрьмы М. Синайского и с разрешения присутствовавшего при этом помощника тюремного инспектора Скрябина.“

Эпический тон реляции Сербинова прямо восхитителен. Останавливаясь на том, что шлиссельбуржцам связывали руки за спину, и не отрицая того, что при этом „лица сопротивлявшихся людей могли быть исцарапаны об асфальтовый пол“, он доносит:

„Исполняющий об. инспектора и начальник тюрьмы следили за тем, чтобы сила была приложена в пределах действительной необходимости и законности. Перед связыванием дана была инструкция надзирателям не позволять себе ненужной и недопустимой жестокости“.

Можно подумать, что озверелые надзиратели, пришпоренные заранее организованными приготовлениями к избиению, вели себя как научно-образованные операторы-хирурги,—не истязали, а священнодействовали.

„И я не могу обойти молчанием того образцового по энергии и спокойствию поведения администрации и надзора, благодаря которым упомянутые попытки к беспорядкам были подавлены в течение нескольких минут“,

восхищается автор рапорта. Его благодушие доходит до того, что, давая отдельные характеристики Луксу („оказался упрямее всех“), Короткову [1]) и Жадановскому, Сербинов прекраснодушно заканчивает:

„Все они здоровы. У Жадановского по прибытии в Орловскую каторжную тюрьму констатирован туберкулез легких в средней степени, в настоящее же время он поправился“.

Поправился!.. Поправился, очевидно, от того, что его, больного, избили до полусмерти, держали на карцерном положении, что на издевательства он протестовал двенадцатидневной голодовкой, что он ни разу не выходил на прогулку, протестуя этим против орловской тюремщины [2]).

---

[1]) „Самый неслыханный из всех вышеупомянутых арестантов... При приемке начал наступать с криком и бранью на дежурного помощника, угрожая его ударить“.

[2]) Подробнее о дальнейшей судьбе Б. П. Жадановского см. в книге И. П. Вороницына („История одного каторжанина“), И. Генкина („Среди политкаторжан“) и В. Манилова („Вооруженное восстание в частях Киевского гарнизона в 1905 г.“).

„Кипяток дается каторжанам два раза в день,—ликует дальше в своем рапорте тюремный инспектор,—дается по полному чайнику, числом около семи стаканов... Пользуясь случаем, прошу Ваше Превосходительство принять уверение в совершенном моем уважении и искренней преданности.

Ваш покорный слуга Сербинов".

Орловский губернатор Андреевский оказался более „гуманным", чем инспектор Сербинов. Получив доклад последнего, он обратился в Главное тюремное управление с просьбой:

„Предложить тюремной администрации озаботиться изготовлением для Орловской временной каторжной тюрьмы надлежащего запаса прочных и вполне соответствующих своему назначению смирительных рубах во избежание необходимости прибегать на будущее время к непредусмотренному законом приему связывания буйствующих арестантов веревками".

Не понравилось орловскому губернатору и то, что руки арестантов связывались к ногам.

„Находя подобный прием совершенно неуместным и недопустимым и граничащим с истязаниями, о которых так часто упоминается как в русской, так и в иностранной печати, прошу Ваше Превосходительство преподать администрации Орловской тюрьмы необходимые по сему поводу указания".

Само собой разумеется, что орловскими событиями заинтересовался и вездесущий Департамент полиции. Очевидно, на запрос последнего начальник Орловского губернского жандармского управления доносит в Особый отдел за № 235:

... „По распоряжению начальника каторжной тюрьмы поручика Синайского, все шумевшие арестанты были связаны и в видах прекращения крика им же были завязаны руки полотенцами. Доказательством того, что названные 14 арестантов не подвергались побоям, служит факт личного посещения каторжной тюрьмы прокурором Орловского окружного суда, который нашел небольшие кольцеобразные кровоподтеки на руках арестованных, получившиеся от связывания веревками, каковая мера являлась необходимой в целях прекращения арестантской демонстрации".

... „Что касается секретного документа (очевидно, письма в газету—Г.), то им, несомненно, является известный Департаменту полиции И. И. Бернштейн (Илья Ионов.—Г.)., упоминавшийся в циркуляре Департамента полиции от 4-XII 1907 г. № 150400".

Внесение запроса в Государственную думу также вызвало обширную переписку, с затребованием материалов, об'яснений, допросов врача и фельдшеров, жалоб потерпевших и т. д. Пришлось орловскому губернатору снова отписываться. Поскольку прежде речь шла о переписке из двух углов, между своими людьми, губернатор позволил себе некоторые либеральные рассуждения о предпочтительности смирительных рубашек перед веревками. Когда же дошло до публичного ответа с трибуны Государственной думы, то тут чувство сословной корпоративности взяло верх.

В своей отписке в Главное тюремное управление от 7 февраля 1913 г. за № 37 „Шталмейстер Двора Его Величества" заявляет:

„Действия тюремной администрации и надзора я нахожу не только правильными, но и заслуживающими полного одобрения по своей находчивости и энергии. Только благодаря во-время принятым и вполне законным мерам беспорядки в Орловской каторжной тюрьме прекращены были в самом начале, а не разрослись до размеров, кои могли бы потребовать вмешательства военной силы. Возможность этой последней опасности имела перед собой реальные основания в том, что Орловская каторжная тюрьма вообще переполнена серьезным контингентом ссыльно-каторжных, а одиночный корпус содержит около 300 человек исключительно опасных преступников, склонных в любой момент ко всякого рода эксцессам... Кроме того, 24 июня тюрьму посетил прокурор Окружного суда г. Случевский, который, выслушав жалобы на произведенное стражей насилие, выяснил, что в действиях администации и надзора Орловской каторжной тюрьмы он ничего незаконного не усматривает".

В этом же духе представили свои рапорты тюремный врач Рыхлинский и фельдшера Исаков и Остриков.

Репутация Орловского централа в глазах администрации стояла так высоко, что обыкновенно из централа для дальнейшего исправления никуда уже не переводили. Но в случае с шлиссельбуржцами Главное тюремное управление промахнулось. Оно поняло, что совершило ошибку, собрав в одно место, хотя и со строгой изоляцией друг от друга такое количество отборных протестантов.

К тому же впопыхах и в припадке административного восторга шлиссельбургское начальство не заметило, что наряду с бессрочным Жадановским и Циомой, долгосрочным Шмидтом (20 лет каторги) были и малосрочные (напр. М. Д. Шеенсон, имевший всего четыре года каторги, которые он кончил в том же 1912 г.). Чтобы исправить ошибку, пом. нач. Главного управления фон-Беттихер предложил орловскому губернатору сделать распоряжение

„об отправлении с надлежащей аттестацией семерых ссыльно-каторжан для размещения их в соответствующих каторжных тюрьмах. При этом благоволите, Ваше Превосходительство, сделать распоряжение о предупреждении конвоя относительно необходимости иметь за названными ссыльными в пути особенно бдительный надзор".

Спустя некоторое время было намечено разослать по различным централам, помимо шлиссельбуржцев Ив. Короткова и Антона Конупа, еще двоих политических, бессрочных—Николая Шванского и Иосифа Шапиро.

„Все они ведут себя очень дурно, непочтительны к тюремной администрации, возбуждают незаконные требования. Все они неоднократно подвергались дисциплинарным взысканиям, но меры к исправлению их остаются тщетными, и они не подают никакой надежды на исправление".

В такой трафаретной форме орловское начальство мотивировало свое ходатайство о переводе хотя бы части шлиссельбуржцев в другие централы.

Ходатайство это было уважено: Илью Ионова и Николая Билибина перевели в „Бутырки", Ивана Некрасова и Захара Циому — в Николаевский централ, И. Буркова и Е. Курочкина — в Ярославский, а Моисей Шеенсон кончил тем временем свой четырехлетний срок и ушел в Сибирь на поселение.

Из оставшихся в Орловском централе — Тимошечкин и Курочкин очень скоро сдались, начали вести себя „как следует", и чрезвычайных репрессий к ним больше не применялось. Зато Ив. Коротков, Карл Лукс, Антон Конуп, Виллис Шмидт и Борис Жадановский продолжали оставаться на особом положении.



**Б. П. Жадановский. По делу о киевском восстании 1905 г. был приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. Убит в 1918 г. в бою с белогвардейцами в Крыму.**

Все они дождались Февральской революции 1917 г. Будучи освобождены, они не ушли на покой, а сейчас же ринулись в водоворот революционных событий. Беспартийный Конуп и анархист Шмидт погибли в сражениях с белыми, Лукс играл очень видную роль в кооперативном и партизанском движении в Забайкальи, командовал отрядами, сражавшимися против атамана Семенова, потом перешел на культурную работу, сделавшись из левого меньшевика — большевиком.

Умер он в сентябре 1932 г. от случайной причины.

Ив. Коротков, проделав сложную политическую эволюцию и перейдя от эсеров к большевикам, здравствует и поныне. Свой неистощимый запас энергии и мятежный пыл он переключил на хозяйственную работу (прошел курс „красных директоров" и работает в одном из наркоматов).

Трагичнее была судьба Бориса Жадановского.

За те полтора года, что он просидел в Орле в строжайшей изоляции, он подвергался дисциплинарным наказаниям 14 раз, на-

чиная с лишения выписки продуктов, переписки, свидания и чтения книг („кроме священного евангелия") и кончая темным карцером на хлебе и воде с выдачей горячей пищи один раз в четыре дня. Убедившись в его неисправимости, а заодно приняв во внимание, что туберкулезным больным полезно пребывание на юге, Главное тюремное управление распорядилось отправить его в Херсон.

13 января 1914 г. начальник Орловского централа в отношении за № 1850 писал начальнику Херсонской каторжной тюрьмы:

„Сообщаю Вашему Высокоблагородию, что арестант Борис Жадановский с момента прибытия с этапа во вверенную мне тюрьму держал себя крайне вызывающе, пред'являл ряд безрассудных требований вроде того, чтобы ему говорили „вы", а не „ты". В день прибытия в тюрьму учинил беспорядок в одиночном корпусе с другими арестантами, прибывшими вместе с ним. За все время содержания Жадановский поведения был самого скверного, категорически отказывался подчиниться установленному порядку, к администрации относился враждебно, непочтительно и часто дерзко. На приветствия отвечает „здравствуйте", а не „здравия желаю". Содержался все время в одиночной камере и при выходе в баню, на прогулку или в уборную был сопровождаем особо приставленным к нему надзирателем".

Мы не станем здесь касаться тех условий, которые были приготовлены для Жадановского в Херсонском централе, где он находился вплоть до 1917 г. Получив свободу, он принимает активнейшее участие в событиях того времени. Попав в Крым и назначенный редактором местной газеты, а затем зав. продовольственным комитетом, Жадановский, ввиду перехода белых в наступление, организует сборный „Социалистический отряд" из политкаторжан разных партий и, находясь впереди этого отряда, погибает в апреле 1918 г. в стычке с татарско-гайдамацкой белогвардейщиной.

## Голодовка и две „волынки".

Скучны и однообразны тюремные будни. Сегодня то же, что и вчера, завтра то же, что и сегодня. Нервы надорваны и устали. За долгие годы сидения чувства погрузились в дремоту. Ничем как будто не занят, а между тем доходишь до изнеможения. Зато душевная спячка сразу нарушается, весь затрепещешь, как только в арестатский быт с шумом ворвется что-нибудь из ряду вон выходящее.

Редкая по своей разработанности и неслыханная по жестокости экзекуция, которой подвергнуты были 14 политических, присланных в Орел из Шлиссельбурга, вызвала некоторый шум в столицах и за границей и очевидно, заставила задуматься даже Главное тюремное управление. „История" эта имела место в июле 1912 г., а месяцев через восемь от нас убрали непосредственных

вдохновителей избиения—начальника Синайского, а затем и инспектора Сербинова. Правда, самый факт столь продолжительного оттягивания перевода извергов в другое место показывал, что Главное тюремное управление не очень торопится с переменой курса. По тюрьме распространился слух о назначении Синайского начальником заброшенной провинциальной тюрьмы где-то в Туркестане.

Впрочем, Главное тюремное управление, руководители которого всегда должны быть преисполнены этакого милосердия и всепрощения, вскоре переменило гнев на милость: Синайский получил повышение—в его распоряжение отдана была одна из самых обширных тюрем в России—Московская, т. н. „Бутырки".

В Орел перевели из Николаева некоего Колченко, высокого блондина со стриженными усами и малороссийским выговором. Почти сразу же он начал с отмены порядков, дикость и нелепость которых бросалась в глаза. На прогулке можно было отныне ходить просто по кругу без команды: раз... два... три... четыре... левой... левой; когда надзиратель посмотрит в глазок, можно было и не становиться во фронт; „здравия желаю" нужно было кричать только при входе в камеру высшей администрации и старшего надзирателя,—отделенные же и простые надзиратели уже не могли в обязательном порядке требовать этой чести; письма можно было писать у себя в одиночке, а не внизу в коридоре против клозета; вновь выписываемые тетради не залеживались в конторе по восемь, по девять месяцев, а аспидные доски, которые при Синайском выдавались не иначе, как с особого разрешения и за особой подписью помощника начальника, стали выдаваться почти сейчас же после выписки. На „пасхе" Колченко накормил заключенных превосходным—с орловской точки зрения—обедом и даже удостоил их поздравления со „святым праздником".

М а с с о в ы е избиения прекратились.

Новый инспектор Саевич, тщательно выбритый джентельмен, тоже не похож был на своего предшественника. Он часто посещал тюрьму, заходил в камеры один без всякой свиты, с интеллигентами, вообще с политическими, старался избегать обращения на „ты". Глядя на арестантов в упор через свое пенснэ, Саевич подробно расспрашивал об их житье-бытье, просил быть откровенными, а выходя из камеры, говорил:

— Ну-у-с, всего хорошего!

Однако, новые порядки вскоре стали все больше походить на старые. Реформаторского пылу хватило у Колченко ненадолго. Хулигански-грубое обращение, наказание карцером по малейшему поводу и без малейшего повода, лишение обычной скидки с кандального срока (что для многих являлось фактическим удлинением срока каторги на год-два), ухудшение пищи и без

того скудной и недостаточной, запрещение выписывать молоко на собственные средства—даже чахоточным; наконец все чаще повторяющиеся случаи отдельных избиений говорили о том, что призрак Мацевича и фон-Кубе, Синайского и Сербинова все еще бродит по Орловскому централу и продолжает свое гнусное дело.

Зато несколько изменилось настроение самих каторжан. Если раньше террористический режим окончательно, казалось, придавил их, если кое-у кого безропотное молчание обусловливалось, кроме всего прочего, еще надеждой на перемену по случаю ожидавшегося манифеста, в связи с 300-летним юбилеем „дома Романовых", то теперь, когда все ожидания оказались обманчивыми, приходилось подумать о том, чтоб сделать дальнейшую жизнь хоть сколько нибудь сносной. Мысль о голодовке напрашивалась сама собою.

К чести некоторых каторжан (припоминаю С Часовенного, А. Павлова, Д. Гуменского, А. Л. Поддубовского, М. Фельдмана и др.) можно сказать, что с самого начала своего прибытия в Орел они стали действовать в этом направлении. Но все время они оставались почти одинокими, и лишь после 21 февраля 1913 г. к их голосу стали несколько больше прислушиваться. По крайней мере, воззвание, пущенное по рукам Поддубовским, произвело на многих большое впечатление.

После долгой и очень законспирированной переписки удалось сформулировать следующие требования:

1) безусловная отмена избиений и возбуждение судебного преследования против всех повинных в них;

2 прекращение порки розгами;

3) отмена всякой казармщины („так точно", хождение на прогулке под команду „раз, два, три, четыре" и т. д.);

4) вежливое обращение;

5) разбор проступков, влекущих за собой карцер, лично начальником;

6) улучшение пищи;

7) лечение чахоточных (для них: больничная пища, увеличенные прогулки освобождение от вредных работ, право днем ложиться на койку и т. п.);

8) увеличение заработка;

9) прекращение работы на канато-трепальне („на хлопках"), служившей ужасным очагом туберкулезных заболеваний.

Препятствием к скорому об'явлению голодовки являлось то обстоятельство, что подавляющее большинство каторжан из общего корпуса стояло в стороне от задуманного выступления, поэтому оно много раз и откладывалось. Все же „голодовочного" настроения и боевой энергии у многих накопилось достаточно, чтобы приступить, наконец, к столь долго ожидающемуся массовому протесту против гнусного орловского режима.

Начало голодовке положили трое бессрочных, которые, однако, не сумели или не успели поставить об этом в известность других товарищей, заранее дававших свое согласие на присоединение.

Когда же об этом случайно узнал Иван Коротков, бурная натура, для которого возмущение и протесты нужны были не менее, чем воздух и вода, и в котором чрезвычайно развито было чувство товарищеской солидарности, он решил на свой манер информировать об этом остальных: вместо длинного пути нелегальной переписки он прибегнул к прямому действию.



**И. Коротков. Отбыл 6 лет каторги в Саратове, Шлиссельбурге и Орловском централе. В данное время на хозяйственной работе.**

Первого мая 1913 г., когда Короткова выпускали на утреннюю оправку, он выскочил в коридор и громким торжественным голосом провозгласил:

— Товарищи, Коротков об'являет голодовку... Причины известны... Присоединяйтесь!.. „Отречемся от старого мира..."

Вернувшись в одиночку, он запел марсельезу. Об этом немедленно дали знать кому следует, примчались старший и отделенный надзиратели, накинули на него сумасшедшую рубашку, а через несколько часов вывели его из камеры и куда-то потащили. Привели его в какой-то полузаброшенный склад, так наз. „крепость", где уже находились начальник тюрьмы Колченко и куча надзирателей. Короткова повалили на пол, силой раздели и начали пороть. После двадцатого удара Колченко велел поднять истязуемого.

— Ну, что, будешь подчиняться режиму?—спросил он.

Коротков только отрицательно качнул головой.

— Ах, так..! Ну, снова ложись!.. Еще двадцать!—крикнул начальник и ретивый палач-надзиратель снова принялся за свое дело. Как и прежние экзекуции, Коротков перенес и эту молодецки. Зажав рукав рубашки в рот, он не произнес ни единого звука и стона, как бы растворяя в себе муки терзаемого тела и одновременно своим молчанием и упорством бросая вызов всему орловскому режиму. Между тем на призыв Короткова откликнулось сразу десятка полтора человек, а в течение ближайших дней небольшими группами еще десятка три товарищей.

Первого или второго мая об'явили голодовку восемь человек. Среди них киевский сапер Иван Беликов, „двадцатилетник" Ефим

Горбачев, Борис Мельников и Николай Симоненко. Организаторы голодовки просили больного Симоненко не примыкать к ней, но он не послушался и присоединился к общему выступлению.

Вслед за шлиссельбуржцами (Жадановским, Шмидтом, Луксом и Конупом) голодовку об'явили Як. Янсон, Ал. Поддубовский, Дм. Гуменский, Генрих Переанд, Алексей Кудрявцев, Георгий Бакуридзе, Б. Сабашвили и Франц Эглит. Еще до них начали голодать кронштадтский матрос Андриан Красиков и рабочие Михаил Новиков и Алексей Ломкин. С некоторым запозданием о голодовке узнали и немедленно же к ней присоединились Моисей Фельдман (один из ее организаторов). Василий Яров, Симон Песин и Иван Макаров.

Как видим—голодовка проходила недостаточно организованно, причина тому,—разбросанность товарищей и чрезвычайно трудная связь между ними. Кроме того одни голодали с водой, а другие не принимали ни еды, ни питья...

К голодавшим Колченко явился лишь на четвертый день. Держался он в общем корректно: обещал прекратить избиения, позаботиться о больных, улучшить пищу, ввести вежливое обращение, резрешить книги и журналы.

Голодовка тотчас же прекратилась.

Однако, победа эта была только видимая. Сообразив, что перед ним был штаб без армии (на 1100 арестантов голодало всего лишь человек 50), Колченко еще больше прижал тюрьму.

Если с политкаторжанами из одиночного корпуса (особенно, с интеллигентами) он во время об'яснений вел себя хоть сколько-нибудь прилично, то совсем иначе он обошелся с теми девятью каторжанами из рабочих, которые находились в общем корпусе, и примкнули к голодовке лишь в последний день ее. В начале помощник начальника уговаривал их „бросить волынку", но слишком много натерпелись они в прошлом, слишком велик был в них гнев, и слишком сильно было чувство товарищеской солидарности, чтоб поддаться уговорам.

Их перевели в одиночки. В положенное время им вносили в камеры обед и ужин, но никто из них ни к чему не притрагивался. Тогда надзиратели Калафуто и Бывших стали силой впихивать им в рот еду. Те оказывают сопротивление, начинается возня, дядьки хватают их за горло и валят на пол. Услышав крики, многие начинают стук в двери.

К товарищу Кожевникову вскакивает старший Коробка и отделенный Семенов. Несколькими тумаками они сваливают его на пол, бьют ногами и кулаками и, чтоб заглушить его крики, впихивают ему в рот полотенце. Помятого и окровавленного его тащат вниз в подвал, там его уже ждут Колченко, старший помощник Симашко и куча надзирателей.

— Ну, всыпьте ему!—приказывает начальник без всяких предисловий. И Кожевникова, пожилого крестьянина, начинают пороть розгами. Совершенно истерзанного стаскивают его после этого с козел, поправляют штаны и, держа за обе руки, ставят перед его высокоблагородием.

— Это ты всего десять розг получил,—говорит ему Колченко. Отныне ты закажешь и себе и своим детям голодовки делать...Если теперь же не дашь слова, что больше не будешь, то опять повторю!. Н-ну?!

— Ва-а-ше... ваше пре-восхо-ди-ди-тельство...—забормотал едва сознавая, что говорит Кожевников,—больше... бо-о-льше не буду...

Поочереди привели и выпороли: севастопольского рабочего, бывшего с.-д., а потом анархиста, Петра Харчевникова, рабочего Фимоненко, ташкентского сапера Родионичева, матросов Андрея Медянника и Григория Повелицу. Кроме того, всем им прибавили по одному году кандального срока.

На арестантских билетах, там, где на обороте регистрируется „поведение“ арестанта, начальник велел написать, что шесть выпоротых им каторжан наказаны за то, что „набросились на надзирателей“...

Таков был конец голодовки.

* * *

Борис Мельников был севастопольский артиллерист, участвовавший в восстании 1906 г., бежавший из-под ареста и без санкции партийного эсеровского комитета совершивший ограбление, или как тогда выражались, „сделавший экс“ („экспроприацию“).

Попав в тюрьму, он бежал из нее, уехал в Херсонскую губернию, опять совершил экспроприацию и вернулся в Севастополь. Во время непосредственной подготовки к одному крупному террористическому акту Мельников опять был арестован. Его судили и по совокупности приговорили к бессрочной каторге и отправили в Орел.

В Орловском централе Мельникову жилось так же, как и всем. Когда в мае вспыхнула голодовка, он примкнул к ней одним из первых. Не то из-за слабости, не то из-за желания усугубить чем-нибудь свой протест, он на утренней поверке оставался лежать на койке. Старший Калафуто, не долго думая, сбросил его прямо на пол и немного поколотил. На другой день произошло то же самое. На третий день голодовки к Мельникову пришел сам начальник и обругал площадной бранью, причем заведующий одиночным корпусом два раза ударил его ногой.

На сей раз этим и кончилось. Голодовка оказалась неудачной и все стали уже забывать про нее.

Ровно через два месяца после этого Мельникова посадили в карцер. Посадили за то, что, когда надзиратель открыл форточку, чтоб сказать что-то сожителю Мельникова, последний продолжал сидеть на скамейке. Между тем орловский этикет требовал, чтобы каторжанин, хотя к нему лично никто и не обращался, стоял на вытяжке, пока дядька будет разговаривать с другим арестантом.

Мельникову предстояло валяться в карцере,—валяться на голых нарах в темноте и сырости, питаться целую неделю одним хлебом да водой. Кандальный ремень и подкандальники отобраны, на ногах волочатся, не висят, а именно волочатся кандалы, на руках те же цепи, правда полегче и потоньше. Холодно, голодно. Сердце ноет, гложет тоска. Досадные мысли так и лезут в голову, вызывая приступы бессильной злобы. За что его посадили в темную, его, и без того измученного и истерзанного?.. Доколе же он будет подчиняться, безропотно сносить оскорбления и издевательства?..

Товарищи!.. То о ва-а-рищи!—закричал вдруг ни с того, ни с сего Мельников, подскакивая к дверям карцера. Очевидно, толкали его к этому какие-то не доходившие до порога сознания, но очень сильные внутренние импульсы.

— Товарищи!.. Помните, за что меня во время той голодовки избили? Так довольно же терпеть!.. Нас здесь замучают! В могилу загонят!.. Не надо молчать! Товарищи, про-тес-туй-те против на халь-ства про-из-во-ла!

Постороннему человеку трудно было бы понять удивление и изумление и арестантов, и надзирателей, когда раздались эти крики. Правда, из карцеров часто, даже очень часто доносились крики и стоны, но то кричали избиваемые. Иной раз громко, во весь голос несет какую-нибудь ахинею брошенный в карцер душевнобольной, но на этот раз явственно слышна была разумная и толковая речь. К тому же голос у Мельникова был громкий, говорил он плавно и складно.

Арестанты прилипли ушами к дверям своих одиночек, а озадаченные дядьки засуетились и вызвали по телефону дежурного помощника. Первым делом тот стал орать на Мельникова и ругать его матерной бранью. Мельников ответил ему тем же. Возмущенные такой неслыханной дерзостью надзиратели Бывших, Семенов и еще один словно остервенелые бросились тогда на Мельникова, схватили за горло и начали избивать.

Едва раздались стоны избиваемого, как многие арестанты, чутко и взволнованно прислушивавшиеся к тому, что исходило из карцера, в отчаянии начали барабанить в двери. Открыл обструкцию ташкентец Николай Шванский, один из наиболее ярких представителей орловской арестантской вольницы. В течение 15 минут по всему одиночному корпусу только и слышен был глухой стук

в обитые железом двери; кто бил в них кулаками, кто железным замком от наручней, кто медным кувшином. Какофония царила ужасная.

— Молчать!.. Не - сметь!.. Отста-а-вить!..—кричал помощник, возившийся с Мельниковым, но его крики, сопровождаемые криками и стонами Мельникова, только пуще раззадоривали каторжан. Трескотня и грохот долго не унимались.

— Записать!.. Отмечать камеры мелом!—распорядился дежурный, и надзиратели принялись второпях ставить кресты на дверях тех камер, откуда, как им казалось, раздавался стук.

— Выходи в коридор,—крикнул Мельникову пришедший, между тем, старший помощник.

— Нет, не пойду,—возразил тот,—вы опять начнете меня бить...

Мельникова вытолкали из карцера и стали насильно одевать в смирительную рубашку. На помощь своим прибежали надзиратели Коптилов, похожий на грека, здоровяк, один из наиболее наглых хулиганов, затем Палехин, сам по себе человек не злой, но дороживший своей должностью и потому отпускавший тумаки и плюхи направо и налево. Разбив Мельникову в кровь висок и заткнув ему рот тряпкой, они поволокли его по лестнице со второго этажа вниз.

Выслушав доклад о происшествии, Колченко распорядился так: шесть обструкционистов выпороть розгами (в том числе и самого Мельникова), человек 30 посадить на карцерное положение, а раскованных снова заковать в ножные кандалы. Кое-кто из действительно участвовавших в обструкции уцелел от наказания, зато другие, которые в дверь вовсе не стучали, подверглись взысканиям. Кожевников, тот самый, которого раньше выпороли за участие в голодовке, был вторично наказан теперь розгами за участие в обструкции, в которой он вовсе не участвовал.

Когда к Мельникову впопыхах посадили также выпоротого матроса Ужикова, оба они решили покончить с собою; они раздобыли стеклышко и хотели перерезать себе сонную артерию, но никак не могли нащупать ее.

Мытарства Мельникова, однако, этим еще не кончились. Его перевели в новый, сырой и холодный корпус и посадили в огромную, пустую камеру. Совершенно изолированный, он и там не переставал „волынить“ и часто попадал в темную на хлеб и на воду. Карцеры в новом корпусе были так устроены, что внизу возле нар из вентиляционной щели дула сильная струя холодного воздуха, что для сидящего в карцере настоящая пытка.

Чтобы добиться перевода в другой карцер, Мельников об‘явил голодовку. Заходит к нему старший Коробка и надзиратель Бондарев. Увидав своих притеснителей, Мельников демонстративно сел и надел шапку. Его побили и добавили лишние 10 суток. Окончательно затравленный (даже в то время, когда он не находился в карцере, он лишен был переписки, выписки продуктов и

книг (кроме Евангелия), Мельников решил совсем выйти из повиновения, и в виде протеста (в Орле это называлось „протестом") стал величать начальника и его помощников не „ваше высокоблагородие", а просто: „господин начальник" или „господин помощник".

Однажды (это было в ноябре 1914 г.) он поругался с двумя помощниками начальника, с Иноземцевым и Горошко. Согласно официальному, довольно путанному и малограмотному рапорту, Мельников требовал, „чтобы было отменено одиночное изолирование арестантов, чтоб во время прогулки разрешалось разговаривать между собою. Ввиду того, что Мельников—неисправимо дурного поведения, не подающий никакой надежды на исправление, и руководствуясь ст. ст. 397 и 400 Устава о содерж. под стражей, постановлено подвергнуть Мельникова наказанию в темном карцере на 30 суток, о чем довести до сведения г. прокурора Орловского окружного суда".

Все эти волынки порядком истрепали Мельникова. Он стал походить на скелет. К тому же пошатнулось и его умственное здоровье (не шутка просидеть в общей сложности, хотя бы в разное время, более 100 суток в темной). Его все чаще и чаще стали преследовать галлюцинации, когда он шагал по камере, то слышал отчаянно громкое кудахтанье кур, но как только он сядет, слух его начинало терзать пиликание гармоники.

Одно время Мельников в течение $2^1/_2$ месяцев совсем молчал, молчал в буквальном смысле слова. Начальник тюрьмы сразу, конечно, решил, что Мельников „симулирует из себя сумасшедшего". В этом смысле и был сочинен обстоятельный рапорт в Губернскую тюремную инспекцию Особенно подчеркивался при этом тот факт, что однажды Мельников заговорил и будто бы (если верить реляции начальника) признался даже в своей симуляции..

В конце концов, самому начальству надоела возня с этим неисправимым бессрочником. 17 июня 1915 г. Мельников был взят на этап и отправлен в Ярославский каторжный централ.

Что с ним потом стало, выяснить не удалось.

### III.

Сидел в одиночном корпусе некий Филипп Пикин, высокий, здоровенный малый с румяным лицом и горящими лихорадочным огнем глазами. Был он „обратник", т. е. вторично осужден в каторгу за побег с работ по постройке Амурской колесной дороги.

Нервный и вспыльчивый Пикин был как-то по-детски легкомыслен. В разговоре с ним собеседника в первый же раз поражала его быстро-быстрая, совершенно беспорядочная и обрывистая речь. Мысли у него шли такими скачками, часто он нес такую чепуху, что надо было удивляться его способности плодить химеры и с необыкновенной живостью и хвастливостью рассказы-

вать о том, чего вовсе не было... Достаточно было немного поговорить с ним и всмотреться в его глаза с расширенными зрачками, чтобы понять, что Пикин—человек тронутый.

Как-то однажды этот взбалмошный и неуживчивый парень поссорился с одним арестантом, бывшим в фаворе у старшего Семенова. Было это по дороге в баню. В самой бане Пикин позволил себе дерзко нарушить введенное после голодовки обязательное постановление: стоя у крана и набирая себе воды, Пикин сказал что-то стоявшему с ним рядом каторжанину, между тем как разговаривать в бане тогда строжайше воспрещалось. За это Семенов и посадил его в карцер. Попав в темную, Пикин поднял шум, поругался с надзирателем и громко стал требовать для об'яснений заведующего одиночным корпусом...

— За что меня посадили, что я такое сделал? Где здесь закон?—кричал Пикин.

— Молчать, сволочь!.. Не разговаривать!.. Посадил, так сиди!..—услышал он от помощника начальника, явившегося, в конце концов, в одиночный корпус.

Пикин долго не унимался. В тот же день он по приказу Колченко был выпорот розгами (30 ударов). Вернувшись с экзекуции, Пикин как-то неожиданно сразу присмирел и затих, как будто с ним ничего не было.

Постепенно все начали уже забывать про этот инцидент. Но вот месяцев через семь после этого Пикин снова попал на две недели в карцер („за пред'явление незаконного требования"). Вынося утром парашку, он неожиданно и без всякого повода набросился на стоявшего рядом коридорного и зачем то хотел подняться на второй этаж. Натолкнувшись на отделенного надзирателя, Пикин замахнулся на него парашкой и побежал назад в камеру, где без видимого повода начал разбивать окно, койку и стол (карцер, в котором он сидел, был переделан из обыкновенной одиночки, так что прикрепленная к стене железная „мебель" оставалась на месте).

Случайно находившийся в коридоре старший Коробка, маленький, похожий на гнома, человечек с большой бородой, выхватил шашку и стал бить ею Пикина. Пикин поднял отчаянный крик и плач.

Было это во время утренней оправки. Всех находившихся в этот момент в коридоре, загнали назад в одиночки, приостановили раздачу хлеба и кипятку. Зазвенел телефон, тюрьма вся насторожилась. В тот же день тюрьму облетела новость: по распоряжению Колченко Пикину дали 35 розог, заковали в ручные кандалы на шесть месяцев и оставили досиживать едва лишь начатые им 14 суток карцера.

Прошло три дня. Пикин все еще в карцере. Вдруг, в глухую полночь, среди мертвой тишины, когда вся тюрьма заснула тяже-

лым могильным сном, когда тягучее безмолвие нарушалось только шагами надзирателей, на цыпочках подкрадывавшихся к глазкам и заглядывавших через них в камеры,—вдруг как будто залпом, раздались громкие вопли и стоны:

— Ой-ой!.. Товарищи!..—ревел чей-то голос.—Помогите!.. За что?.. За что?.. Ой-ой!.. Товарищи!..

Кричал Пикин. То ли от боли после наказания розгами, то ли восне кошмар охватил его, то ли в его воспаленном мозгу с запоздалостью пронеслось чувство обиды на то, что никто из заключенных в свое время не заступился за него,—но завопил он таким надрывающим душу голосом, что все мы вскочили с коек, как ужаленные. Прибежал дежурный помощник, раздался глухой топот надзирательских сапог. Полагая, вероятно, что его сейчас начнут избивать и испугавшись собственного голоса, Пикин разразился истерическими воплями:

— Караул!.. Товарищи!.. Ратуйте!.. Убивают!.

Сразу несколько человек забарабанили в двери.

Как раз незадолго до этого (1 марта 1914 г.) Иван Коротков снова (уже не помню, в который раз) призвал каторжан к голодовке и, согласно введенному им „стандарту", пропел громким голосом несколько куплетов марсельезы. Его, разумеется, избили, напялили снова смирительную рубашку и снова выпороли. На этот раз помощник начальника Машковский, заменявший уехавшего в Петербург Колченко, до того рассвирепел, что отпустил Короткову порцию розог свыше официальной нормы в сто ударов: до того он был взбешен горделиво презрительной выдержкой, с какой Коротков вынес и эту экзекуцию.

Теперь, когда некоторые из политкаторжан, знавшие про новое выступление Короткова, услышали вдруг чьи-то крики, они решили, что это избивают Короткова. В действительности же его в одиночном корпусе уже не было, так как, провалявшись после порки пару дней на голом асфальтовом полу, он был переведен сперва в так наз. „заразное отделение", а потом в больничную палату, где залечивали его раны на спине после экзекуции.

Но до чего упадочно было в этот момент настроение у большинства сидевших в одиночном корпусе, видно из того, что даже при предположении, что кричит всем известный Коротков, а не какой-то Пикин, к обструкции присоединилось человек 15 из 260 каторжан.

Стоны Пикина, между тем, долго еще не унимались. Было жутко, сердце замирало от тоски. Стоишь в одном белье и стучишь в дверь словно загипнотизированный. Лихорадочное беспокойство, недоумение, необходимость что нибудь еще предпринять, сознание своего бессилия,—все это путается, туманит голову и оставляет на душе неприятно-нудный осадок.

Вскоре Пикина выволокли из карцера и, как он был в ножных и ручных кандалах, куда то увели. Все мы улеглись спать, в тюрьме снова воцарилось гробовое молчание, нарушаемое только шопотом и шушуканьем дежурных надзирателей, но напряженные нервы, и без того развинченные, долго-долго не могли успокоиться.

На следующее утро Колченко так распорядился: десять человек, стучавших в двери, посадить на две недели в карцер, на хлеб и на воду. Троих он выпорол розгами. Пикин же снова был подвергнут наказанию розгами, но уже в количестве ста ударов,— максимум того, что начальник тюрьмы может дать в один прием.

Казалось бы, что если взрослый человек ни с того ни с сего начинает бесноваться, набрасывается на товарища, к которому он не может питать вражды, ломает мебель, ночью поднимает крик, то первое, что должно явиться на ум,—это предположение о ненормальности этого человека. И если от рядового тюремного начальника можно и не требовать понимания таких тонкостей, то от губернского инспектора, образованного юриста, казалось, можно было ожидать кой-чего другого. Но...

Пикин, которого последняя сотня розог совершенно обессилила, притих недели на две, но потом с ним снова приключилось что-то неладное. Он, очевидно, решил покончить с собой и, схватив лампу, облил себя керосином. Но огонь был своевременно замечен надзирателем, и Пикина полуобожженного отнесли в больницу.

Когда Колченко сменил новый начальник Пугавко, Пикина перевели в „Краков", как почему-то назывался у нас новый тюремный корпус. Помещен он был в большую и пустую камеру. Там он окончательно сошел с ума. Он помешался на том, что его хотят отравить: каждый раз, когда ему приносили хлеб и еду, он настойчиво требовал, чтоб надзиратель первый пробовал пищу. Вел он себя буйно: громко распевал обрывки песен, приходившие ему на ум, отчаянно ругался, на каждом шагу нарушал тюремные правила и распорядки,—словом „волынил". В особых случаях на него надевали смирительную рубашку. Розгами Пугавко, правда, его не порол, но ни начальник тюрьмы, ни тюремный врач и не подумали предпринять что-нибудь более подходящее в отношении этого душевнобольного парня. Через несколько месяцев после перевода его в „Краковский" корпус Пикин умер—официально от чахотки.

* * *

Это третье „происшествие" в истории нашего одиночного корпуса имело своим последствием гибель еще двух каторжан. Одного из них я знал лично. То был Андрей Шансков, высокий и стройный блондин, матрос из рабочих, приговоренный к бессроч-

ной каторге за касательство к предполагавшемуся в 1912 г. восстанию Черноморского флота. Когда Шансков однажды ночью услышал безумные вопли Пикина, он вскочил полусонный с койки и, охваченный негодованием, принялся стучать в дверь. За участие в обструкции его посадили на 2 недели в темную. В это время к нему пришел Саевич

— За что били Пикина?—негодующе спрашивает его Шансков.

— Неправда, — возражает инспектор, — его никто не трогал, а кричал Пикин потому, что на него „нашло"... Он психопат.

— Это великолепно!.. „Он психопат"!.. Так разве психопатов лечат розгами, г. Саевич?.. Неужели этому-то вас учили в университете?.. — недоумевающе возразил Шансков, в волнении позабыв, что таким тоном арестант не должен разговаривать с его высокоблагородием. Между прочим, Шансков заявил инспектору, что если его будут пороть розгами, он вцепится надзирателю в горло и скорее даст себя застрелить, чем подвергнется такому оскорблению.

Наголодавшись вдоволь в темном карцере, Шансков, попав обратно в одиночку, с нетерпением стал дожидаться обеда. Ему, как обыкновенно, подали чашку с горячей водичкой, в которой тоскливо и недоуменно плавали два кусочка мяса и немного капусты.

— Дайте, пожалуйста, погуще... Я голоден... Этой баланды не приму,—заявил он стоявшему тут же старшему надзирателю Семенову. Тюремный дядька чисто интуитивно понял, что Шансков, в отличие от других избегнувший на этот раз порки, представляет особый интерес для начальника. Вместо того, чтоб подлить Шанскову немного щей, Семенов побежал в контору с докладом о том, что Шансков, мол, отказывается от пищи и „смущает" остальных.

— Он из тех, кто участвует, ваше высокоблагородие!..—добавил он при этом. На языке нашего старшего слово „участвовать" имело универсальное значение и являлось синонимом неподчинения, строптивости, буйства, крамолы, свободомыслия, независимости, вообще, всего того, что входит в понятие: „плохое поведение".

— Ты что же арестантов смущаешь?! — накинулся на Шанскова начальник, когда того привели к нему в кабинет. — Опять бунтовать вздумал!..

— Никого я не „смущаю", — возразил Шансков. — А что до обеда, то я требую только того, что полагается по закону...

— Что? „Требую"! Это что за слово?.. Арестант может только просить, а не требовать!.. Я здесь выведу, выведу крамолу!..—стал кричать Колченко. В наказание за это „плохое поведение" начальник велел посадить Шанскова в темный карцер снова на четырнадцать суток.

Обкрадывание арестантского пайка—это одна из самых выгодных статей „дохода" для тюремной администрации. В самом деле, если даже с каждого пайка одна лишь копейка застрянет в карма-

не начальства, то при 1 200 заключенных это составит порядочную дневную порцию... Поэтому наше начальство страшно чувствительно было даже к отдаленному намеку на недобросовестное использование арестантских сумм.

И не только начальство нашей тюрьмы.

Так, например, начальник Псковского централа П. Черлениовский выпорол политического Бугаева за жалобу на плохой обед.

Начальник Смоленской тюрьмы М. Орлов, когда ему донесли, что кузнецы отказались принять скверный обед и в виде протеста опустили в неурочное время койки, велел выпороть розгами с.-д. Метца и 6 человек посадить в карцер на три недели.

У нас в Орле предшественник Колченко—М. Синайский наказал 2-недельным карцером политического Кимана „за упорные и настойчивые жалобы на сырой хлеб", как это я сам прочитал на обороте его карцерного листка.

Отбыв и эти 14 суток, Шансков, еще более измученный, возвращается в одиночку, но тут его снова ждет невзгода. Его соседу по камере вздумалось спросить его о чем-то по стенке, и как на грех перестукиванье это подслушал надзиратель. По распоряжению заведующего одиночным корпусом Шанскова опять наказывают двумя неделями темного карцера.

Таким образом, ему пришлось с небольшим перерывом пробыть в карцере 42 суток, из них 30 суток в темноте на одном лишь хлебе и воде. За все шесть недель Шансков ни разу не был выпущен на свежий воздух даже в те дни, когда карцерному полагалась прогулка.

Вскоре после этого у него пошла кровь горлом. Доктор констатировал у него чахотку, и Шанскова, страшно исхудалого, пожелтевшего и еле-еле передвигавшего ноги, перевели в больницу—верный признак того, что Шансков скоро, скоро прикажет долго жить. Действительно, через полгода наше тюремное кладбище обогатилось еще одним сиротливым холмиком...

Гораздо быстрее расквитался со своей злой мачехой—судьбой некий Фадеев, который пришел в централ из Брянска и сидел в 179-й одиночке. Отчаянные крики и вопли Пикина, внезапно среди глухой ночи огласившие наш корпус, стук в двери, вообще вся эта удручающая и наводящая страх и панику кутерьма так повлияла на Фадеева, что он мгновенно сошел с ума. Не знаю, пробудилось ли в нем воспоминание о перенесенных им самим когда-то побоях или он и до этого страдал манией преследования, но он вдруг, словно ужаленный, вскочил с койки, вскарабкался на окно своей одиночки, и, хотя никто лично его вовсе не трогал, стал кричать из всех сил:

— Ратуйте!.. Ратуйте!.. Отправьте меня в Брянск!

Несколько успокоившись, но все еще находясь в том же угнетенном и психопатическом состоянии, Фадеев разбил оконное стекло и осколками порезал себе артерии обеих рук. Истекающего кровью его отнесли в больницу, и через сутки он умер. Этим-то и закончилось третье происшествие в Орловском централе...



**Орловский Централ. Вход в подвал, в котором пороли розгами.**

## ПОМОЩЬ С ВОЛИ.

# Письма из-за решотки.

На предыдущих страницах мы уже видели, какое сопротивление оказывали, если не все, то многие политические каторжане, стремлениям тюремщиков согнуть их в бараний рог. На примере матроса из рабочих, Николая Симоненко, на примере таких стойких и закаленных революционеров, как Борис Жадановский, Иван Коротков, Вилис Шмидт и другие шлиссельбуржцы мы видели, до чего сильна была зарядка, полученная ими в наэлектризованной атмосфере 1905 г. Уже тот факт, что орловскому начальнику пришлось очень скоро разослать по другим тюрьмам более половины присланных к нему на окончательное исправление шлиссельбуржцев, уже один этот факт демонстрирует поражение, которое Главное тюремное управление потерпело в борьбе с каторжанской вольницей.

Упорно отказываясь подчиняться режиму Орловского централа, устраивая обструкции и голодовки, политкаторжанский актив в то же время старался мобилизовать вокруг своей борьбы сочувствие революционной общественности по ту сторону тюрьмы. Пользуясь малейшей возможностью, орловские активисты передавали и легальные и нелегальные (главным образом, выходившие за границей) газеты и журналы информацию о том, что творится в централе.

В начале 1912 г. по рукам ходила отпечатанная на гектографе прокламация, один экземпляр которой лежит перед нами. Этот анонимный призыв о помощи тем более замечателен, что исходил он не от орловского каторжанина. Интересно отметить, что когда автору воззвания, еще не знавшему в точности, куда именно его отправляют, показалось почему-то, что его бросят в Орел, он приговорил себя к смерти.

— Как мне хотелось тогда, идя по улицам, увидеть кого-нибудь из знакомых и крикнуть последнее „прости",— пишет он.

Вот некоторые отрывки из этого воззвания:

„...В грязной этапке на полу лежит чахоточный, пробывший в Орловском централе два года и превратившийся из молодого человека в старика с седыми волосами... Слабым, прерывающимся голосом рассказывает он мне хронику централа и раскрывает пружину удивительной махинации, вот уже несколько лет убивающей безнаказанно людей.

При приеме этапа бьют на глазах всех... Горе тем, кто не сумеет перенести оплеуху молча, на таких набрасываются как муравьи...

...На коридоре сходятся два-три надзирателя и ведут интимный разговор:

— А ты, Степанов, собьешь такого-то с места одним ударом?

— Собью!..

— Нет, врешь!.

— Ей-богу, собью!..

— Ну, посмотрим.

Открывается камера.

— Эй, такой-то, выходи!

Тот выходит. Спортсмен наносит удар. Тот, кто знаком с такими приемами, старается, даже если мог бы устоять, сразу упасть. Новичок же, особенно из крепких, если не ляжет после нескольких ударов, переходит от одного к другому, третьему.

... Я знаю, что в моей бездушной хроникерской передаче теряется самое главное: тот дух ужасающего нравственного упадка, который является следствием такого режима. В Орле нет товарищей, всякий напряженно следит за собой, чтобы не забыться, не заговорить громко, не засмеяться, не опоздать. Все думают только о том, чтобы переложить оплеухи на товарищей. Выходя из камеры, толкают друг друга и спешат вперед, чтобы не быть в числе последних, неизменно получающих удар ключом...

...В каждой камере сидит не менее двух-трех предателей, по малейшему доносу которых тебя могут вызвать каждую минуту и избить... При встрече со знакомыми из других камер не показываешь и виду, что знаком, животный страх уничтожил все проявления человечности. Стараются придать своему лицу угодливое выражение, чтобы понравиться надзирателю".

Такими красками описывается впечатление от печальной повести, поведанной автору его попутчиком на этапе. Этот выходец из централа, очевидно, не знал, что далеко не все каторжане вели себя так, как вели себя окружавшие его лично сокамерники.

Приводимый ниже другой документ не исполнен такого отчаяния и ставит себе целью мобилизовать общественное мнение социалистических и радикальных кругов на протест против орловских порядков.

В первом номере „Вестника каторги и ссылки“, издававшемся в 1914 г. за границей „Краковским союзом помощи политическим заключенным“, напечатано следующее „Воззвание каторжан Орловского централа к русскому народу“:

„В тюремной борьбе за свое освобождение от ига самодержавия русский народ несет великие жертвы. Правительство щедрой рукой расставило на его пути виселицы и пулеметы, штыки и тюрьмы. Тысячи повешенных, начиная с 1905 г., десятки тысяч расстрелянных и убитых, замученных всевозможными способами. Обо всем этом писали в газетах и телеграммах и даже в правительственных сообщениях.

Почему же ничего не пишут о зверских насилиях, которым подвергаются каторжане в тюрьмах? Почему так мало знают о них? Правительство ревниво оберегает своих усердных слуг, совершающих подвиги в сумраке казематов, а толстые стены и железные затворы заглушают крики и стоны истязуемых. На первом месте среди всех каторжных тюрем, по чисто инквизиторскому своему режиму, стоит Орловский централ. Недаром Главное тюремное управление присылает сюда со всех концов России каторжан „для исправления“.

Приведя ряд чисто орловских эпизодов, автор воззвания продолжает:

„Мы хотим сорвать покров тайны и молчания с деяний орловских тюремщиков и с правительства, прикрывающего их. О крови и муках погибших и погибающих товарищей кричим мы. Имеющие уши, чтоб слышать, да слышат.

Просим революционные организации распространять это обращение среди рабочих.

Каторжане Орловского централа“.

# Запросы в Государственной думе.

Мы уже указывали, что орловские политкаторжане в целях борьбы с режимом тюрьмы обращались также и в Государственную думу, именно, Государственную думу третьего и четвертого созыва.

Действуя при помощи самого безудержного террора, правительство, защищавшее интересы реакционных помещиков и крупной буржуазии, сумело сколотить в Государственной думе нужное ему и вполне послушное большинство. Что касается оппозиции, то кадеты, руководимые П. Н. Милюковым, сами считали себя „оппози-

цией его величества, но не его величеству", тем самым подчеркивая свою готовность вступить в сделку с царизмом. Трудовики и меньшевистская часть единой тогда соц.-дем. фракции стояли за коалицию с кадетами, имея в виду изоляцию реакции. И только небольшая количественно большевистская часть соц.-дем. фракции (состоявшая из 6-7 человек в четвертой Госуд. думе) придерживалась революционной линии, старалась придавать всем своим выступлениям последовательно пролетарский характер, стремясь как можно теснее связаться с пролетарскими массами и не чуждаясь нелегальной работы с ее неурезанными лозунгами.

На Государственную думу они смотрели не как на законодательный орган, а как на трибуну, которой можно дополнительно воспользоваться для мобилизации масс на борьбу с царизмом и капиталистами.

„Обращенные к правительству запросы были для рабочих депутатов одной из лучших форм использования думской трибуны,—пишет т. А. Е. Бадаев в своей книге „Большевики в Государственной думе". Внесением того или иного запроса нам удалось сосредоточить внимание широких рабочих на определенные конкретные преступления царского правительства, на те или иные особенно безобразные случаи произвола. Взятые из текущей жизни материалы для запросов давали возможность осуществлять на деле задачи, которые ставили себе большевики, пользуясь думской трибуной: вести через головы черносотенного большинства агитацию среди рабочего класса за сплочение рядов, за усиление революционного натиска на существующий строй.

Выступая по запросам, депутаты—большевики со всей резкостью и прямотой обнажали язвы и гниль царизма и буржуазии. На данном конкретном факте, который служил основанием запроса, мы показывали рабочему, что ему нечего рассчитывать на какие-либо улучшения в существующих условиях и что единственный верный путь пролетариата—это путь революции". (стр. 69).

По времени первый запрос об Орловском централе был внесен 12 мая 1909 г. Секретарю Государственной думы пришлось волей неволей огласить, а газетам—перепечатать следующий запрос, внесенный с.-д. фракцией:

„Уже неоднократно доводили мы до сведения Государственной думы о тех ужасающих порядках, полных вопиющего беззакония, которые, как определенная политическая система, беспрерывно и постоянно применяется в тюрьмах Европейской и Азиатской России. Эти порядки, ведущие к прямому физическому уничтожению заключенных политических, не только не основываются на каких-либо законодательных распоряжениях, но прямо противоречат им, являясь плодом беспредельного произвола местного тюремного начальства и их подчиненных...

В предлагаемом запросе правительству мы собрали достаточное число точно проверенных фактов, вполне говорящих за себя и безусловно подтверждающих наше мнение, что здесь мы имеем дело со строго продуманной системой политического воздействия, политической мести определенному кругу лиц".

Дав краткую характеристику положения вещей в Митавской Дерябинской (в Петербурге) и Владимирской каторжной тюрьме

авторы запроса подробно останавливаются на порядках, царивших в Орловской губернской тюрьме, где начальство имело дело даже не с каторжанами, лишенными всех прав состояния, а с подследственными и с так. наз. „крепостниками", т. е. приговоренными по политическим делам к отбыванию крепости. Оказывается, что и в губернской тюрьме порядки были точь в точь, как в местном централе, что видно из описания избиений члена Окружного комитета РСДРП тов. В. В. Михалевского.



Ф. Э. Дзержинский в Орловском централе (1914 г.).

В части, касающейся непосредственно Орловского централа, запрос гласит:

„В каторжной тюрьме происходят ужасы, перед которыми бледнеет все вышеописанное. Избиения неоднократно кончались смертью. В последнее время стало известно об истязаниях, которым подвергались Дьяконов и присяжный поверенный Жданов. Последний подал прокурору какое-то заявление, по которому был вызван в контору, где прокурор очень грубо обошелся с ним. Когда Жданова привели обратно в одиночку, то тут его стали истязать..

О том, что творится в орловских застенках, с ужасом говорят даже конвойные. В Орловский централ переводят из других каторжных тюрем для „исправления", или для убийства, как говорят заключенные".

Дальше следует печальная повесть о Тобольской, Бутырской, Томской, Тифлисской (Метехский замок) тюрьмах, об Архангельском дисциплинарном батальоне, о заразных эпедемиях, свирепствовавших во всех тюрьмах.

В пункте четвертом запроса с.-д. фракция спрашивает:

„Если указанные факты известны председателю Совета министров, министрам Юстиции, Морскому и Военному, то какие меры приняты для ограждения жизни и здоровья заключенных, уничтожения практикующихся истязаний их, избиений и убийств, грубого обращения с ними тюремной администрации и различного рода издевательств, а также других незакономерных действий и злоупотреблений чинов тюремного ведомства и прокурорского надзора, и что сделано для привлечения к ответственности виновных. Запрос наш просим считать спешным".

Здесь произошло следующее. Председатель Госуд. думы заявляет, что спешность запроса желает поддержать с.-д. депутат И. П. Покровский.

— Кому угодно высказаться против?

— Не стоит! Мы и так молча провалим!.. На всякую глупость отвечать не стоит! — раздались голоса справа.

Взяв слово, Покровский подробно изложил мотивы спешности и закончил свою речь следующими словами:

— Мы протестуем против такого бесчеловечного, ужасающего тюремного режима... Мы предлагаем присоединиться к этому протесту и членов Гос. думы, потому что позор, которым правительство заклеймило себя пред Европой, ложится и на страну. Мы обращаемся к тем, в ком еще живо чувство человеческого достоинства, требующее оберегать это чувство и в другом себе подобном. Мы обращаемся к ним и просим понудить правительство отказаться от режима тюремных насилий, издевательств и надругательств над человеком, потому что картина, которая раскрывается в тюрьмах, возвращает нас к временам „святой инквизиции", дыбы и пыток. Мы не обращаемся к тем, которые со сладострастием в голосе говорят слова—„повесить", „снять шкуру",—у нас для них нет слов убеждения, у нас для них есть только одно имя „палача".

Стенографический отчет отмечает: „Рукоплескания слева; шум справа. Звонок председателя".

Председатель приступает к голосованию, после чего торжественно об'являет: „Спешность отклонена. Запрос передается в комиссию".

Запрос так и остался нерассмотренным вовсе.

Та же судьба ожидала и запросы, внесенные в мае 1912 г. и в январе 1913 г.

В конце года (7 декабря 1913 г.) от имени 32 депутатов с.-д. и трудовой фракции внесен был запрос по поводу „незакономерных действий в каторжных тюрьмах и истязаний в Алгачинской, Орловской и некоторых других". После речей Г. И. Петровского и А. Е. Бадаева с мотивировкой спешности запроса, выступил депутат Туляков, который огласил письмо, полученное с.-д. фракцией по поводу голодовки 30 апреля 1913 г., описанной нами в очерке „Три волынки".

Едва Туляков закончил свою речь, как председатель, не давая никому больше слова, „пригласил господ членов Государственной думы стоя выслушать Высочайший указ Правительствующему Сенату о роспуске Государственной думы на рождественские каникулы. В ответ раздались долго несмолкаемые клики: государю императору ура". Запрос был сорван.

Левые фракции пользовались для разоблачений каторжных порядков также и прениями по поводу сметы Главного тюремного управления, происходившими 29 мая 1913 г. и 16 мая 1914 г. На последнем заседании выступали депутаты Александров (левый кадет) и Шагов (с.-д. большевик).

— Люди, пережившие это восьмилетие,—говорил с пафосом Александров,—люди искренние, люди, способные впитывать факты действительности без всякой лжи, без всяких преломлений через предвзятую точку зрения, без узкой партийной морали, должны сказать своей совести, что истекшее восьмилетие было процессом постепенного одичания русской государственной власти. Старые помпадуры, добродушные, над которыми смеялся Щедрин, заменялись Муратовыми, а тюремщики, караулившие Достоевского,—извергами рода человеческого. Я, господа, с этой кафедры говорю, что они изверги, но я их не обвиняю, так как сами они верны системе, они жертвы исторического рока (??). Пока этой системы не измените, вам должно быть стыдно за нашу страну.

Выступавший после Александрова рабочий депутат большевик Шагов говорил о том, что „смета Тюремного управления есть смета приходов и расходов, подсчет рублей и копеек, ассигнуемых господствующими классами на то, чтобы душить своих политических противников, не только уничтожая их механически, но и мстить им путем той невероятной системы надругательства над военнопленными старого режима, которое практикуется под несмолкаемые аплодисменты дворянских представителей гг. Марковых и Пуришкевичей, ежеминутно чувствующих возможность нового взрыва.

Огласив полностью известное нам уже „Воззвание каторжан Орловского централа“, Н. Р. Шагов подчеркнул, что в ноябре 1913 г. появилось еще одно воззвание, подписанное многими сотнями выдающихся имен всех стран и народов, которое начиналось так: „Со времени провозглашения конституционной свободы в России в октябре 1905 г. было осуждено свыше 40 000 человек за политические преступления.

Из этого числа 3000 было казнено, а более 10 000 заключено в мертвые дома каторги“.

На заседании четвертой Государственной думы от 16 апреля 1914 г. слово взял екатеринославский металлист большевик Г. И. Петровский.

— В истории третьеиюньского режима [1]) пытки и истязания политических заключенных займут одну из самых позорных и ужасных страниц Увлекшись как-то фразой, Столыпин сказал, что в политике нет мести, а есть только последствия. Но это не верно. „Бей, бей“—такой лозунг был дан как Столыпиным, так и его наследниками [2]), и били по всякому поводу и без всякого повода.

---

[1]) После разгона Столыпиным 2-й Государственной думы на основании закона от 3 июня 1907 г. была созвана 3-я Госуд. дума.

[2]) Столыпин был застрелен в 1911 г. в Киеве в присутствии царя провокатором Богровым, действовавшим по невыясненным мотивам Столыпина сменил Коковцев.

В Орловской каторжной тюрьме бьют за все: бьют за то, что здоров, бьют за то, что больной, бьют за то, что русский, бьют за то, что еврей, бьют за то, что имеешь крест на шее, и бьют за то, что не имеешь его. Мучители в русских тюрьмах тем отличаются от других преступников, что всякое их преступление не может обнаружиться. Внешнее устройство тюрем не дает возможности проникнуть туда общественному глазу... Еще недавно в Западной Европе совершенно не знали о том, что в русских тюрьмах применяется часто розга, что это повседневное явление. Когда на Базельском социалистическом конгрессе один из ораторов на митинге указал, что розга в русских тюрьмах применяется обычно, что это имеет законный характер, то никто не мог ему поверить и после этого многие подходили к нему, чтобы он подтвердил, действительно ли верны эти сведения...

Несмотря на принятые меры скрыть ужасную расправу над политическими заключенными, все-таки, господа, не удалось, не помогла правительству в этом отношении и Государственная дума. Особенно ценные услуги в этом отношении оказала правительству третья Государственная дума; четвертая Гос. дума спешность настоящего запроса отвергла и приняла срок в две недели, но эти две недели она превратила больше чем в год.

Г. И. Петровский очень подробно останавливается на событиях 28 апреля 1907 г. (расстрел в Екатеринославской тюрьме), сообщает про ужасающие порядки в Луганской и Бахмутской тюрьмах, и продолжает:

— Я сам в этих тюрьмах был и испытал там голодовку, испытал тот суровый режим, которому подвергались после меня заключенные мои товарищи. Казалось бы, что нам следовало бы только обратиться к вам, настаивать на принятии спешности нашего запроса.

Но, господа, надеяться на то, чтобы вы приняли запрос, нам не приходится, не приходится потому, что вы уже целый ряд запросов наших отклонили, высказав свое слишком жестокое и грубое отношение к политическим противникам. Поэтому надеяться на то, что вы примете и этот запрос, не приходится. Расправы над тюремщиками можно дождаться лишь от народного суда, который скоро ли, долго ли, но должен притти. Поэтому, господа, руки тюремщиков еще могут истязать политических заключенных, но руки их никогда не могут унизить политических заключенных. Несмотря на издевательства, имена их останутся чистыми и незабвенными в потомстве русских людей. Виновники же этих зверств и гнусностей перейдут в потомство с позорной кличкой палачей.

Здесь председатель Государственной думы призвал Петровского к порядку и предоставил слово известному черносотенцу Маркову второму.

Надо отдать должное этому махровому реакционеру: он довольно едко высмеивал либерализм Александрова и Керенского. Отвечая первому (по поводу его замечания относительно вежливого обращения Бисмарка с германскими социал-демократами), Марков заявил:

— Русский социалист осуществляет идею немедленно и большею частью в результате этих осуществлений является кровавое преступление, а в Германии все они на кафедре говорят страшные слова, а в жизни только и заботятся, чтобы побольше пива выпить.

Дальше этого они там не идут, вот почему там штрафуют их на 500 марок, и этих 500 марок достаточно для того, чтобы привести германских социалистов в равновесие... Германские социалисты еще не доросли, не доразвились до русских настоящих социалистов и то, что немцам здорово, русскому смерть, и наоборот. Поэтому я думаю, что именно эту порцию (20 лет) хорошей каторги и хорошей порки надо еще сохранить и впредь, дабы русские социалисты оставались на той высоте, на которой они во всем мире славятся.

После речи Маркова, выдержанной в таких издевательских тонах, и после нового выступления Керенского, председатель Государственной думы огласил, наконец, запрос в редакции, принятой комиссией. Редакция эта исходит не из факта избиения, имевшего место 20 июня 1912 г. в Орловском централе, а лишь осторожно запрашивает: „Действительно ли каторжане Жадановский, Билибин, Бернштейн, Коротков, Шмидт, Некрасов, Лукс, Конуп, Шеенсон, Циома и другие были в присутствии тюремного начальства и по его приказанию подвергнуты истязаниям, причем эти истязания продолжались в течение двух недель". В этой редакции запрос и был принят.

Но это не спасло его от той же судьбы, которая постигла почти все запросы, внесенные левыми фракциями в первую, вторую, третью и четвертую Государственную думу по поводу избиений, убийств и голодовок в царских тюрьмах. После третьего чтения—16 апреля 1914 г.—и двукратного обсуждения, и этот запрос был просто забыт, на сей раз по случаю начавшейся вскоре войны.

Как это указывает в своей исчерпывающей статье т. Е. Д. Никитина [1]), из 143 запросов, внесенных в Государственную думу, рассмотрены и приняты только четыре, остальные остались нерассмотренными, потому что этого не хотели хозяева Государственной думы.

---

[1]) См. сборник „Девятый вал". М., 1927 г., стр. 42.

# „На волю"

С наступлением империалистической войны положение вещей в Орле изменилось к лучшему. Еще до этого реакция в стране значительно ослабела, а тут начальству приходилось еще всячески раздувать патриотические чувства каторжан, поощрять подачу им прошений об отправке на фронт против врагов „родины и цивилизации": орловские „гуманисты" из чинов тюремного ведомства были, видите ли, очень возмущены поведением „тевтонов"...

В тюрьму каждый день доставлялись телеграммы с фронтов войны, разрешалось даже получать „Правительственный вестник" или „Русский инвалид". Информация правительственных изданий была, разумеется, более чем тенденциозна; но все же она давала кое-какое представление о том, что творилось за стенами тюрьмы.

Не довольствуясь этим, каторжане завели сношения с волей через назначенного в тюрьму зубного врача. Эта дантистка доставляла нелегально в тюрьму левые газеты, переотправляла на волю письма, т. е. оказывала те самые услуги, которые до нее оказывал через политкаторжан А. Я. Нильмана и Стерлина арендатор тюремной кулечной мастерской, некий Бабин.

Все без исключения жители тюрьмы ждали каких-то перемен; „оборонцы" свирепо спорили с „пораженцами", но даже среди тех, кто вполне основательно полагал, что эпоха войны неизбежно закончится эпохой революций, далеко не все рассчитывали на скорый взрыв революции в России. Для тех, кто неоднократно разочаровывался в близости освобождения, революция представлялась чем-то отдаленным.

„Вдруг" грянула Февральская революция.

О том, что 26 февраля 1917 г. царь распустил „оппозиционную" Государственную думу, что последняя не подчинилась приказу, через день образовала „Временный комитет", и в контакте с возникшим того же 27 февраля „Советом рабочих депутатов" образовала „Временное правительство",—обо всем этом каторга узнала еще за несколько дней до того, как по телеграфному приказу нового министра юстиции Керенского начали освобождать из тюрем всех политических.

Впрочем, о том, что на воле происходят какие-то необыкновенные события, легко было догадаться уже потому, что с одной стороны неожиданно был усилен караул, а с другой—помощник Анисимов ни с того, ни с сего заявил на поверке, что отныне на приветствие начальства надо отвечать не „здравия желаем, ваше высокоблагородие", а просто „здравствуйте". В обстановке Орловского централа уже одно это равносильно было величайшей революции... Однажды тюремные дядьки в общем и одиночном корпусе стали вызывать по одному, по два человека.

— Политические, выходи в коридор!... В контору зовут.... Все вещи забирай...

В прежние времена такого рода „приглашение“ означало, если не порку розгами, то перевод в другой корпус или наказание карцером. Но на этот раз в тоне „приглашения“ слышались какие-то совершенно новые нотки.

В конторе тоже творилось что то новое. Собралось все начальство, нервно бродившее с места на место. На лицах у всех— недоумение и страх. Растерянно выглядывал и прокурор, вертевшийся здесь же. Обращал на себя внимание своей необычностью в обстановке тюрьмы какой-то торжественно настроенный персонаж интеллигентского вида: то был представитель местного „Совета рабочих депутатов“...



**Л. Ривин. Отбывал каторгу в Орловском централе. В настоящее время на военной работе.**

На столах лежали приготовленные заранее „дела“ политкаторжан. Молча производится денежный расчет, молча приносят из цейхгауза собственные вещи, в свое время не пропущенные в камеру. Со словами: „вы свободны“ выпускают по одному, по два человека за ворота тюрьмы.

Поведение тюремной администрации было необычайно глупое. „Их благородия“, господа отделенные, а также рядовые надзиратели просто не знали как себя вести. Они понимали, что теперь нужно быть особенно вежливыми, но как это сделать в отношении арестанта, которого еще совсем недавно избивали до крови, они „не знали“.

Кое-кто из начальства, особенно из низшего состава, был убежден, что „все это“ невсерьез, что это какое-то недоразумение, что „порядок“ скоро будет восстановлен, что каторжан вернут назад в централ, словом, будет все, как это „полагается в порядочном государстве“.

Впрочем, из тех надзирателей, которые раньше отличались в избивательных кампаниях, многих уже не было на месте, другие

на всякий случай спешили взять расчет и убраться куда-нибудь подальше.

Надо сказать, что и среди политкаторжан находились такие скептики, которые также полагали, что „все это“ невсерьез. Опасаясь новых арестов, они, не говоря никому ни слова, также поспешили поскорее „смыться“ из Орла.

На улице возле тюрьмы освобожденных ждала толпа, главным образом учащаяся молодежь. Выходивших из ворот встречали криками „ура“, некоторых поднимали на руки. Питерский большевик Петр Федоров, словно в опьянении, выхватил у кого то из манифестантов красный флажок и, энергично размахивая им, произнес речь.

Надо, впрочем, сказать, что особенно грандиозной встречи в этом небольшом мещанском городе ждать не приходилось, но все же ликования кругом было много.

В течение двух-трех дней политических группами в несколько десятков человек выпускали из централа на волю, всего их освободилось до 200 человек. Коснулась амнистия также и случайных „преступников“, особенно малосрочных, отчасти и профессиональных уголовных. Большинство неполитических получило половинную скидку с первоначального срока каторги, а те из них, которые почему-либо не записывались добровольцами на фронт, отправлялись по этапу в Сибирь и там получали свободу.

Как только устанавливалась принадлежность того или другого каторжанина к политическим, его сразу же отводили в помещение Городской управы, отправляя на ночевку в лазарет польского „Красного Креста“. Большинство освобожденных лишь через несколько дней переменило арестантские штаны и бушлаты на „вольную“ одежду.

Снабдив каждого штатским костюмом и бесплатным жел.-дор. билетом, комиссия совета раб. депутатов в течение пары недель закончила эвакуацию политкаторжан из Орловского централа.

Впрочем, многим, особенно полякам, еще в 1915 г. пересланным в Орел из тюрем, расположенных в районе военных действий, пришлось надолго остаться в Орле из-за невозможности связаться с родными и близкими. Передавали об одном случае моментального сумасшествия товарища, узнавшего, что за те десять лет, которые он провел на каторге, вся его семья до единого человека перемерла...

Свержение царского самодержавия у всех ассоциировалась с теми жертвами Орловского централа, которые похоронены были на Троицком кладбище. Туда и потянулись освобожденные каторжане и публика. Учуявший охватившее всех настроение, местный священник отслужил на кладбище панихиду.

— Спите, други народа, — возгласил он, — народ теперь свободен...

Собравшиеся пропели похоронный марш и сфотографировались общей группой.

Так тихо и незаметно перестал существовать Орловский централ, гнусный застенок гнуснейшего режима бесправия и издевательства.

Раньше, еще задолго до революции 1917 г. каждому, кто уходил из централа, уходил не на волю, а отправлялся по этапу в Сибирь на поселение, или даже пересылался в другую тюрьму,— каждому, за которым закрывались ворота Орловской тюрьмы, казалось, что с плеч его сброшено десять Монбланов. Раздававшаяся в таких случаях грубая и наглая команда конвойного офицера:

— Шагом марш... Вести себя как следует... В случае чего, пущу в ход огнестрельное оружие,—звучала как небесная музыка, до того велико было ощущение того, что ты уже не в Орловском централе.



Д. М. Рапопорт. Отбыл 10 лет каторги. Видный участник гражданской войны.

Не трудно себе представить ощущение людей, уходивших из централа не в Сибирь, а на волю, настоящую волю, на борьбу за осуществление тех идеалов, во имя которых социалист-рабочий и социалист-интеллигент, революционер-матрос и передовой солдат шли в каторгу и ссылку.

# Суд над орловскими тюремщиками.

Описание Орловского централа осталось бы незаконченным, если бы мы не упомянули о судьбе творцов и носителей „конституции“ этой „образцовой“ каторжной тюрьмы.

Главные вдохновители режима—царское правительство и его министры сгинули вместе с падением самодержавия. Министр юстиции Щегловитов был арестован еще при Временном правительстве, и затем, уже после Октябрьской революции, расстрелян. Начальника Главного тюремного управления Максимовского застрелила еще в 1907 году молодая эсерка Рагозинникова, повешенная за это в том же году. Из двух преемников Максимовского—Курлов пережил Февральскую и Октябрьскую революции и эмигрировал за границу. Другой начальник Главного тюремного управления, Г. Хрулев, умер и был заменен бывшим Томским губернатором Ганом.

Что касается непосредственно орловских тюремщиков, то часть из них—в том числе фон-Кубе, Мацевич, Синайский, а также старшие надзиратели—Бывших, Калафуто, Задорожний попали в числе других в руки ОГПУ и были в 1926 г. расстреляны. Почти одновременно с ними по постановлению коллегии ОГПУ был расстрелян и последний тюремный инспектор Саевич.

За два-три года до этого были арестованы и преданы Верховному суду старший помощник при Мацевиче и Синайском—Симашко-Солодовников, д-р Рыхлинский, старший надзиратель Новченко и отделенный Жернов. Все они, а также трое их сопроцессников (инспектора Главного тюремного управления, Сементовский и Мелких, и начальник Кутомарской и Зерентуйской тюрем Ковалев) сумели приспособиться к новой обстановке и окопались—кто на советской службе, кто в деревне. Симашко вплоть до ареста не покидал даже службы в качестве начальника тюрьмы. Д-р Рыхлинский устроился заведующим курортом, Новченко обратился в „трудового крестьянина“.

Суд над этой группой состоялся в Москве в январе 1924 г. Председательствовал Немцов, некогда осужденный по делу Петербургского совета рабочих депутатов 1905 г. Народными заседателями были Сосновский и Косырев, прокурором т. Васильев-Южин. От политкаторжан на суде выступали—Г. М. Крамаров

(в качестве общественного обвинителя), Ем. Ярославский. орловцы Ив. Коротков, Ф. Казмерчак, С. Часовенный, А. Глик, Петр Игнатьев, а также Г. М. Тур, Л. А. Старр, И. И. Жуковский-Жук, М. И. Оссовский, Вл. Плесков. Н. Ростов и даже бывший начальник нерчинской конвойной команды Г. Н. Чемоданов—автор воспоминаний о каторге.

В десяти номерах „Известий" за 1924 г. мы находим очень обстоятельный и толковый [1]) отчет об этом процессе.

Мы не станем здесь останавливаться на характеристиках инспекторов Главного тюремного управления—Сементовского и Мелких, и начальника Нерчинской тюрьмы—Ковалева.

Отметим, что Симашко обвинялся в том, что был одним из вдохновителей и руководителей массовых истязаний политических, предводительствовал ватагой надзирателей, усмирявших „бунт на хлопках", довел до могилы Самуила Бейлина, собственноручно бил заключенных. При Симашко были забиты на-смерть Пивоваров и и Сандлер, при нем повесились Сапотницкий и Левин.

Д-ру Рыхлинскому вменялось в вину, что он не только знал об истязаниях, но давал заведомо ложные свидетельства о смерти, якобы, от туберкулеза до-тюремного происхождения. На его глазах в больнице били заключенных, их стаскивали с постелей на пол, не веря, что они не могут становиться (во время поверки) во фронт. Новченко и Жернов обвинялись как активные участники избиений и издевательств в Орловском централе.

На суде все обвиняемые держались, как побитые собаки, просили прощения, прикидывались малосознательными и т. д.

Симашко подтверждал данные обвинительного акта, но уверял, что „был вынужден к этому высшим начальством". В виде иллюстрации он приводил такой диалог между ним и начальником централа:

— Посадили в карцер?—спрашивает его начальник.

— Да.

— Морду набили?

— Нет.

— Жаль, а надо бы...

По словам Симашко, в избиениях не принимали участия лишь 5% надзирателей, ибо „нельзя было не бить".

— Признаю себя виновным. Под давлением начальства не отдавал себе отчета (плачет). Простите меня, преступника,—сказал Симашко в своем заключительном слове.

---

[1]) См. „Известия" за время с 9 по 19 января 1924 г. В отчетах этих, впрочем, попадаются и ляпсусы. Один из них совсем уже примечателен: в номере от 16 января автор отчета, не смущаясь, заявляет, что „Ив. Коротков был переведен из Саратовской тюрьмы в Шлиссельбургскую крепость, где в то время (!) содержалась Вера Фигнер"...

Рыхлинский сознается в грубости и жестокости, признает свою халатность и небрежность в отношении заключенных и просит снисхождения, ссылаясь на свою шестилетнюю службу при советской власти.

Новченко с самого же начала признал себя во всем виновным изобличал Симашко и всех отсутствовавших по разным причинам начальников и помощников и даже обвинял себя в делах, которых никто ему не приписывал.

„Я тоже бил политических, но все же людей я жалел и действовал в легком направлении,—уверял он Верховный суд.—Когда же наступили светлые дни и из Централа выпустили 204 политических, я даже радовался... В 1917 г. занялся хлебопашеством"..

В этом же духе держались два крупнейших деятеля Главного тюремного управления.

— Прошу здесь публично прощения у всех борцов за свободу, которые страдали физически и нравственно по моей вине —плакался старик Сементовский. —Ради моей семьи прошу дать мне умереть естественной смертью, хотя бы в тюрьме.

Другой, инспектор Мелких, просил снисхождения, ссылаясь на то, что он никогда не был врагом советской власти, с которой его связывает кровь его сына, „павшего в честном бою против Юденича".

На свою „верную службу советской власти", а также на то, что после 1912 г. он круто переменил к лучшему свое отношение к политическим, указывал в свое оправдание и Ковалев, прямой и косвенный виновник ужасных трагедий в Кутомарской и Зерентуйской тюрьмах [1]).

В своей обвинительной речи прокурор Верховного суда тов. Васильев-Южин сказал:

— Советскому суду не свойственно чувство мести. Окрепшей советской стране не страшны сидящие на скамье подсудимых царские тюремщики. Но не мешает быть осторожным .. Мы только в начале борьбы. Прав т. Ярославский, указывающий на то, что Ковалев вредный член общества, который при первой же возможности будет нам мстить. То же самое можно сказать и относительно всех остальных подсудимых. Они, несомненно, при первом удобном случае увеличат ряды наших врагов.

Останавливаясь в своей речи на тюремных порядках, которые существуют в отношении пролетарских борцов в Италии, Соеди-

---

[1]) В связи с событиями в этих тюрьмах отравились политкаторжане Итунин, Ильинский, Андреев, Мошкин, Пухальский, Кириллов,—последние двое умерли, приняв большую порцию стрихнина. В августе 1912 г. при преемнике Ковалева, бывшем орловском тюремщике Головкине, покушались на самоубийство Одинцов, Черствов, Пирогов, Козлов, Лейбазон, Рычков и Маслов,—последние трое умерли.

ненных Штатах и Японии, каковые порядки „немногим отличаются от того режима, который существовал в царских застенках", тов. Васильев-Южин продолжал:

„Все это говорит не только о том, что их (сидящих на скамье подсудимых) надо было судить, но что надо осудить их возможно грознее. Пусть подумают о нашем суде другие (иностранные) тюремщики и палачи"...

Прокурор требовал применения расстрела в отношении Сементовского, Мелких, Симашко и Рыхлинского, снисхождения к Ковалеву („за небольшое добро, которое он делал части политических") и наименьшей меры наказания для Новченко. От обвинения надзирателя Жернова в виду недоказанности улик прокурор отказался.

Выступавший в качестве общественного обвинителя от имени политкаторжан т. Крамаров сказал в своей речи:

— Политкаторжане—жертвы царского тюремного режима—ни в какой степени не руководствуются сейчас чувством мести. Самые страшные наказания подсудимых не искупят бесчисленных страданий и мучений, пережитых товарищами. Искуплением за принесенные жертвы является то, что здесь... заседает пролетарский суд, что существует советская власть и Коминтерн. Значение настоящего процесса—в раскрытии язв царского тюремного ведомства. Процесс должен произвести впечатление на Западную Европу, где имеются еще свои Сементовские и Симашко. Процесс, несомненно, научит молодое поколение ценить то, что мы завоевали путем бесчисленного количества столь дорогих нам жертв...

Приговором Верховного суда постановлено:

1) Сементовскому и Мелких назначить расстрел.
2) Симашко—10 лет заключения.
3) Рыхлинскому и Ковалеву—по 5 лет.
4) Новченко—три года тюрьмы.
5) Жернова—оправдать.

Однако, принимая во внимание преклонный возраст Сементовского и Мелких, заменить им расстрел десятью годами тюрьмы; в отношении Ковалева считать приговор условным, то же и в отношении Новченко („принимая во внимание его бедняцкое происхождение и несознательность").

# СПИСОК ЛИЦ, ОТБЫВАВШИХ КАТОРГУ В ОРЛОВСКОМ ЦЕНТРАЛЕ.

Авдеенко Александр Данилович — Срок каторги 12 л.
Абель Карл Карлович — бессрочно
Абрамов Михаил Титович — 8 л.
Абуладзе Дементий Георгиевич — 8 л.
Агабеков Николай Хочатурович — 10 л.
Акимов Павел Иванович — 3 г.
Алексеев Владимир Васильевич — 6 л.
Алкспе Кристоп — срок не указан
Анус Даниель Анисович — бессрочно.
Аронов — срок не указан.
Арсеньев — „ „ „
Арсентьев Павел — 6 л.
Ассадулин Хатмулла — 4 г.
Асеев Константин Семенович — 10 л.
Ассор Вольдемар Оттонович — 15 л.
Бабюк Михаил Евгениевич — 12 л.
Бадаукас Франц Людвигович — бессрочно
Балашов Семен Алексеевич — 4 г.
Баллод-Бросан Юлиус Юрьевич — 4 г.
Баранов Иван Семенович — 15 л.
Барциковский Александр Людвигович — бессрочно.
Барщ Осип Михайлович — срок не указан.
Бауман Кирш — бессрочно.
Бегге Карл Микелевич — 4 г.
Беликов Иван Данилович — 12 л.
Бейлин Самуил Наумович — 8 л.
Берзин Франц Карлович — бессрочно.
Билибин Николай Николаевич — 10 л.
Биндер Моисей — 6 л.
Блажеевский Владислав Игнатьевич — 4 г.
Бобров Николай Семенович — 6 л
Бобровский Федор Захарович — 8 л.
Богачев Николай Тимофеевич — 10 л.
Богачев Егор Егорович — 4 г.
Богданов Иван Трофимович — 15 л.
Богун Андрей Андреевич — 2 г. 8 мес.
Бойцов Михаил Федорович — 6 л.
Борисов Федор Никитич — 4 г
Бренеров Соломон — срок не указан.
Бохуа Илларион — „ „ „
Брзжезовский Теофил Владиславович — 8
Буйлов Арсений Александрович — 15 л.
Букау Юлиус Мартынович — 6 л.
Булычев Иван Яковлевич — 8 л.
Бургулидзе И. П. — срок не указан.
Бутюта Николай Антонович — 20 л.
Бух Эдмунд Андреевич — срок не указан.
Бухов Иван — „ „ „

Вагнер Иосиф Иосифович — 5 л.
Вайнер Иосиф Абрамович — 8 л.
Вайт Ян Матисович — бессрочно.
Валига Юзеф Якубович — 15 л.
Васильев Василий Петрович — 6 л.
Вельгус Тимофей Семенович — бессрочно.
Веприцкий Никита Дмитриевич — срок не указан.
Весоловский Бронислав Андреевич — 6 л.
Вингель Ян Янович — бессрочно.
Витвар Франц Андреевич — 6 л.
Волынец Ефим Абрамович — 10 л.
Вишневский Трофим Семенович — 6 л.
Волгин-Пыркин Михаил Леонтьевич — бессрочно
Воронков Василий Григорьевич — 6 л.
Вцисло Виктор Юзефович — 12 л.
Вржезневский Амвросий Станиславович — 12 л.
Войтасик Адам Янович — 10 л.
Вуйцик Антон Адамович — 12 л.

Гаврон Томаш Павлович (поселенец. В Орел прислан по ошибке)
Гаммер Карл Гансович — 5 л.
Гаранс Карл Петрович — 20 л.
Гавелек Валентин Андреевич — 15 л.
Гартман Генрих Карлович — 6 л.
Гендлин Евгений Исаакович — 4 г.
Генкин Иосиф Исаевич — 10 л.

Гердава Александр Александрович 4 г.
Глик Абрам Вольфович 20 л.
Гликсан Марий Иванович 2 г. 8 м.
Гарбовский Георгий Максимилианович бессрочно.
Голобородько Самуил Евтихиевич 6 л.
Головко Степан 10 л.
Голубев Максим Егорович „
Гольдман Яков Давидович бессрочно.
Гохмаршвили С. Л. срок не указан.
Горбачев Ефим Васильевич 20 л.
Грейнер Адольф 10 л.
Гродзицкий Хиль Беркович 6 л.
Гудков Степан Петрович срок не указан.
Гукз Фердинанд Генрихович „ „
Гуменский Дмитрий Максимович 15 л.
Гурза Гавриил Федорович 8 л.
Гуревич Моисей Михайлович 2 г. 8 м.

Данцкес Франц Кришев 6 л.
Дадьянов Матвей Матвеевич 12 л.
Дембицкий Константин Леопольдович 8 л.
Дембицкий Юзеф Антонович 4 г.
Дворянкин Александр Иосифович 3 г.
Дзержинский Феликс Эдмундович 9 л.
Дзядек Антон Андреевич 12 л.
Дмитриев Мефодий Георгиевич 10 л.
Дремайлов Андрей Тихонович 6 л.
Дрикерт Яков Ансович 20 л.
Дюжарден Александр Яковлевич 6 л.
Дьяконов Борис Михайлович 8 л.

Ешовский Мартын Либович 4 г.

Жадановский Борис Петрович бессрочно.
Жермен-Эккерман Г. Н. 6 л.

Забелин Федор Ильич бессрочно.
Зайцев Иван Егорович 8 л.
Закржевский Роман Янович 12 л
Замбовский Ефим Антонович срок не указан.
Заминский Модест Феликсович 5 л. 4 м.
Захарченко Евдоким Никитович 8 л.
Зевин Соломон Григорьевич срок не указан.
Зелит Петр Янович 15 л.
Зильберштейн Еремяш Александрович бессрочно.
Зуев Петр Иванович 6 л.
Зурабашвили-Церетелли Георгий Давыдович 4 г.

Игнатьев Петр Александрович 10 л.
Ильин Степан Ильич 12 л.
Ильюшин И. Г. срок не указан.
Ионов Илья Ионович 8 л.
Исаев-Лазарев Георгий Иванович бессрочно.

Кадомцев Михаил Самойлович „
Казаков Константин Федорович 8 л.
Казаков Михаил Федорович 12 л.
Казмерчак Флориан Иосифович 20 л.
Калешев Николай Кириакович бессрочно.
Калугин Федор Фадеевич 8 л.
Калугин Э. К. срок не указан
Канецкий Антон Янович 10 л.
Каратавых М. Г. срок не указан.
Карпов Борис бессрочно.
Касперсон Ян Янович „
Каулин 10 л.
Кацфельд Юрий Густавович „
Квапинский Ян Владиславович 15 л.
Квасневский Ян Антонович 12 л.
Квятковский Людвиг Янович 10 л.
Керковский Петр Антонович 20 л.
Кизиков Петр Николаевич 8 л
Кийман Карл 6 л.
Кирш Иоган срок не указан.
Климушкин Прокопий Дмитриевич 10 л.
Клява Людвиг Мартынович 15 л.
Ковальчук Ефим Степанович „
Кожевников срок не указан.
Козель Моисей Лазарович 8 л.
Коздобин срок не указан.
Койфман Григорий Самойлович 6 л.
Колотилин Дмитрий Александрович 7 л.
Колотуш Филипп Яковлевич 4 г.
Колчугин И. Я срок не указан.
Конрад Бронислав Осипович 10 л.
Конуп Антон Харитонович „
Концевич Болеслав Антонович 2 г. 8 м,
Корнеев Василий 10 л.
Корнюшин Федор Дмитриевич 8 л.
Коротков Иван Яковлевич 6 л
Коссовский Абель Юделевич бессрочно.
Костольгин Иван Федорович 6 л.
Кострица Иосиф Зотиевич 10 л.
Костржембский Юлиан Вацлавович 12 л.
Кострыкин Яков Васильевич 10 л.
Котляров Исаак Соломонович 6 л.
Кравец Гордей Трофимович 8 л.
Красиков Адриан Васильевич 20 л.

| | |
|---|---|
| Краснобаев - Филимонов Емельян Иванович | 6 л. |
| Краснобаев Николай Козьминович | срок не указан. |
| Кривелев Иван Павлович | 20 л. |
| Кригер Василий Андрианович | 2 г. 8 м. |
| Крузберг Матвей Янисович | 8 л. |
| Круль Павел Семенович | 18 л |
| Крупинский Юзеф Станиславович | 12 л. |
| Крючков Василий Герасимович | 6 л. |
| Крючков Григорий Моисеевич | 10 л. |
| Кубицкий Ян Антонович | бессрочно. |
| Кубицкий Станислав Бернардович | 20 л. |
| Кудрявцев Алексей Петрович | „ |
| Кудрявцев Сергей | срок не указан. |
| Кульпе Ян Карлович | „ „ |
| Кульпецкий Викентий Францевич | 5 л. |
| Куропаткин Савва Федорович | 8 л. |
| Курочкин Григорий Павлович | срок не указан. |
| Лабренц, Христофор Колумбович | 10 л. |
| Лаптев Петр Павлович | 8 л. |
| Лебедев Александр Тимофеевич | бессрочно. |
| Лежава Георгий Николаевич | 10 л. |
| Лейпцигер Иосиф | 13 л. 4 м. |
| Леонов-Черных, Тимофей Гаврилович | 15 л. |
| Литвинов Павел Кузьмич | 16 л. |
| Ломкин Алексей Федорович | 13 л. |
| Лузин А. Д. | срок не указан. |
| Лукашев Тимофей Иванович | 8 л. |
| Лукс Карл Янович | 6 л. |
| Лутов Андрей Артемьевич | 12 л. |
| Лутов Егор Артемьевич | 10 л. |
| Лущинский | срок не указан. |
| Лысенко Петр Алексеевич | бессрочно. |
| Ляшков Василий Никитович | 20 л. |
| Любимов | срок не указан. |
| Мазик | срок не указан. |
| Майоров-Джинев Шакро | 5 л. 4 м. |
| Макаров Иван Андреевич | 8 л |
| Макаричев Арон Давидович | 10 л. 6 м. |
| Макарский Франц Янович | 5 л. |
| Мальченков-Мальков Кирилл Емельянович | 12 л. |
| Мамонтов | срок не указан. |
| Марджанадзе Виссарион | 20 л. |
| Маринин Александр Владимирович | срок не указан. |
| Маронский Юзеф Викентьевич | 10 л. |
| Матлин Моисей Соломонович | 8 л. |
| Мартиросов Мамикон Ефремович | 5 л. 4 м. |
| Матин Иосиф Петрович | срок не указан. |
| Матисон Антон Фриц | 4 г. |
| Маховский Илья Федорович | бессрочно. |
| Медяник Андрей Никитович | 8 л. |
| Меляков Карп Васильевич | „ |
| Мельников Б. М. | бессрочно. |
| Мелешков Михаил Михайлович | 6 л. |
| Мелкумянц Бегляр Айрапетович | 10 л. |
| Мельгарчек В. Ю. | срок не указан. |
| Мирошников Савва Федорович | бессрочно. |
| Мирский Дмитрий Иванович | срок не указан. |
| Михайлов | 4 г. |
| Мичурин Иван | срок не указан. |
| Мишенов Иван Афанасьевич | 20 л. |
| Мон Николай Августович | 12 л. |
| Мотыльский Матвей Павлович | бессрочно. |
| Мухин Василий Тимофеевич | 4 г. |
| Мыльников (д-р) | срок не указан. |
| Мясников Гавриил | 6 л. |
| Назарьянц Ефрем | бессрочно. |
| Неделя Федор Фомич | 12 л. |
| Некрасов Иван Акимович | 8 л. |
| Нестеров Николай Яковлевич | 6 л. |
| Николаев Иван Григорьевич | 6 л. |
| Николайшвили Кирилл Александрович | 4 г. |
| Никулин Мефодий Иванович | 10 л. |
| Нильман Александр Янович | 15 л. |
| Новак Степан Войцехович | 2 г. 8 м. |
| Новиков Михаил Ефимович | 10 л. |
| Новиков Павел Алексеевич | срок не указан. |
| Непомнящий Лев Исаевич | бессрочно. |
| Обухов Александр Павлович | 20 л. |
| Овчаров Иона Иванович | 15 л. |
| Орлов-Ковальчук Северин Иванович | „ |
| Орловский Петр Адамович | 8 л. |
| Павлов Алексей Алексеевич | 8 л. |
| Паницкий Василий Константинович | 20 л. |
| Папуша Павел Максимович | бессрочно. |
| Певзнер-Ривкин Михаил Аронович | 10 л. |
| Пегланд Генрих Маркусович | 6 л. |
| Пержик Абрам Исаакович | 12 л. |
| Песин Симон | срок не указан. |
| Петрашевич Мечислав Людвигович | бессрочно. |
| Петренко Григорий Демьянович | 6 л. |

Пивоваров Леонид Иванович 20 л.
Пискарев Алексей Григорьевич 8 л.
Плотников Увар Михайлович 6 л.
Повелица Григорий Александрович 8 л.
Поддубовский Александр Львович 10 л.
Поднек Карл Янович 4 г.
Половинко Семен Осипович 8 л.
Попов Алексей Иванович „
Попов Иван Романович 12 л.
Потапенко Пантелеймон Романович 15 л.
Присталов Иван Петрович 4 г.
Прокопович Иван Константинович „
Проскурин Федор Ефимович срок не указан.
Просянов Семен Филиппович 10 л.
Пушенко Семен Евсеевич 12 л.
Пылаев Егор 10 л.

Радек Станислав Антонович 10 л.
Радофельд Александр Максимович бессрочно.
Рапопорт Давид Моисеевич 10 л.
Расин Гессель Ефимович 15 л.
Распопов Георгий Григорьевич бессрочно.
Ратовецкий Исай Львович 12 л.
Реусберг Ян срок не указан.
Ривин Лазарь Борисович бессрочно.
Рингенфельд Иван Иванович 15 л.
Родионов Марк Михеевич 8 л.
Родионченко срок не указан.
Розенфельд Давид Наумович 6 л
Ротберг Иогансон Гансович „
Рудаковский Файтель Соломонович 4 г.
Рука Фердинанд Генрихович срок не указан.
Рывацкий Мармон Максимилианович 4 г.
Рябко Григорий Яковлевич 6 л.

Сагиянц Александр срок не указан.
Садков Александр Дмитриевич бессрочно.
Сакварилидзе Аргил Ефремович 15 л.
Сандлер Иосиф срок не указан
Сапотницкий Альберт Борисович 6 л.
Семенов Антон Титович 4 г
Семисынов Афанасий Васильевич бессрочно.
Сенковский Антон Владиславович 15 л.
Сенюта Феликс Михайлович 20 л
Сергеев Федор Григорьевич „
Серяткин Е. Е. срок не указан.
Сикелязе Индрик Адович 18 л.
Симаков Петр Яковлевич срок не указан.
Симоненко Николай Иванович бессрочно.
Слодлак Мартын Яковлевич 8 л.
Сипел Альберт Ретонович бессрочно.

Скиданов срок не указан.
Скуза Андрей Казимирович 20 л.
Слезняк Антон Антонович „
Сорокин Алексей Федорович 8 л.
Соскин Михаил Лазаревич 5 л. 4 м.
Сосновский Ян Федорович 7 л.
Сосновский Яков 4 г.
Спадковский Алексей Павлович бессрочно.
Спиридонов Матвей Александрович 20 л.
Спрогис Юрий Карлович 10 л.
Старж-Маевский Тадеуш Зенонович 2 г. 8 м.
Стариков Никифор Федотович 4 г.
Стенин Василий Васильевич 6 л.
Стерлин срок не указан.
Стефанович „ „
Ступин Давид срок не указан.
Суриков Михаил Александрович 6 л.
Суриков Иван Федорович „
Сукенник Антон Касперович 12 л.
Сырек Владимир Яковлевич 8 л.

Талалаев Михаил Павлович „
Татаринцев Александр Григорьевич срок не указан.
Тимофеев Александр Федорович бессрочно.
Тимошечкин Василий 4 г.
Типунков Иван Германович „
Третьяк Спиридон Матвеевич „
Тюхнясма Иван Махкелевич 18 л.

Ужиков Захар Васильевич 12 л.
Уманский Симон срок не указан.
Урядов-Щербаков Авенир Гаврилович бессрочно.

Файнберг Самуил Исаевич 10 л.
Фалевич Анатолий 15 л.
Федоров Василий Николаевич 13 л. 4 м.
Федоров Петр Филиппович 4 г.
Федорович Флориан Флорианович 6 л.
Фельдман Моисей Соломонович 10 л.
Филиппов Иван Филиппович 4 г.
Фонталин 8 л.
Фридман срок не указан.
Фришлянд Иосиф Львович 9 л.
Фудим Иосиф срок не указан.

Хазанов Абрам Яковлевич 20 л.
Харчевников Петр Иванович 20 л.
Хвостинский Юзеф Михайлович 10 л.
Хинчук Абрам Маркович 4 г.

Целадзе Егор бессрочно.
Целинский Ян Вацлавович 12 л.

| | |
|---|---|
| Циома Захар Семенович | бессрочно. |
| Цирульник Товий Семенович | 10 л. |
| Цукерблат Лев Нусимович | 4 г. |
| | |
| Чантурия Юлиан Павлович | 4 г. |
| Чаптуридзе Илья Захарович | 8 л. |
| Чапник Абрам Григорьевич | 12 л. |
| Часовенный Семен Иванович | 6 л. |
| Чекнов Сергей Фомич | 15 л. |
| Четвериков Петр Алексеевич | бессрочно. |
| Чистяков Севастьян Агафонович | 4 г. |
| Чихладзе Егор Алексеевич | 10 л. |
| Чураев Андрей Емельянович | 20 л. |
| Чхетия Александр Давидович | 4 г. |
| | |
| Шагинян | срок не указан. |
| Шакулашвилли Константин Матвеев. | 3 г. |
| Шансков Алексей Иванович | 20 л. |
| Шапиро Александр Петрович | бессрочно. |
| Шапиро Иосиф Исаевич | „ |
| Шарапов Сергей | срок не указан |
| Шванский Николай Валерьянович | бессрочно. |
| Шебло Роман Максимович | 7 л. |
| Шевченко Дмитрий Григорьевич | 8 л. |
| Шеенсон Моисей Давидович | 4 г. |
| Шерешевский Товий Аронович | 10 л. |
| Шилин Василий Семенович | 9 л. |
| Шило Вячеслав Трофимович | 15 л. |
| Шихалев Петр | 6 л. |
| Шмидт Вилис Янович | 20 л. |
| Щавинский Станислав | срок не указан. |
| Щетинин Федот Алексеевич | бессрочно. |
| | |
| Эглит Франц | срок не указан. |
| Этнер Станислав Фридрихович | 10 л |
| | |
| Юдин Николай Лукьянович | 6 л. |
| | |
| Яворский Марк Кириллович | 10 л. |
| Янсон Яков Давович | 6 л. |

Приведенный здесь список политкаторжан, сидевших в Орловском централе, весьма неполон [1]), ибо число их перевалило далеко за четыре сотни. Среди перечисленных выше 384 чел. мы имеем 49 „вечников“, т. е. осужденных в бессрочную каторгу, и 55 чел., в отношении которых не удалось пока установить точный срок осуждения.

В 1933 г. во Всесоюзном обществе политкаторжан было зарегистрировано всего лишь 80 членов Орловского землячества,—это все, что осталось в живых из четырех сот „орловцев“...

---

[1]) В частности нам не удалось установить фамилии соучастников известного кавказского большевика-боевика тов. Камо.

Всякого рода исправления и дополнения просим направлять в адрес Орловского землячества. (Москва. Улица Воровского, д. № 31, Об-во политкаторжан).

# Библиография.

При составлении настоящей книжки автор воспользовался, помимо своих собственных воспоминаний, документами из архива Орловского централа, собранного тт. Казмерчак Фл. И. и А. Г. Урядовым. Архив этот находится при Музее О-ва политкаторжан в Москве.

Ниже приводится список книг и статей, заново составленный, дополненный и систематизированный на основании библиографической справки т. Е. Д. Никитиной.

### А. Общее описание Орловского централа.


1. И. Бунимович. Один день. В журнале „Кандальный звон", 1926 г. № 5 (изд. Одесск. отд. О-ва политкаторжан).

2. Вадим. Из воспоминаний об Орловской тюрьме. „Былое" (загр. изд.), 1912 г., № 4.

3. Вольский. После победы. Современное положение русской каторги. Журнал „Современный Мир". Петербург, 1912 г., № 5.

4. Н. Галкин. Царские застенки. Журнал „Пути революции", 1925 г., № 2. Изд. Украинск. отд. О-ва политкаторжан.

5. Е. И. Гендлин. Записки рядового революционера. Госиздат, М, 1926 г. (ст. „Из мира заживо погребенных", посвященная Орловскому централу помещена также в сборнике „По тюрьмам", М., 1925 г.).

6. И. И. Генкин. Орловский централ и другие очерки в кн. „По тюрьмам и этапам", ГИЗ, 1922 г.

7. А. Глик. В Орловском централе. „Каторга и ссылка", 1925 г., № 7.

8. Р. Данцкес. „Орловский централ", изд. „Дешевой библ." Общества политкаторжан, М., 1925 г. (Эта же статья помещена была в „Каторге и Ссылке" за 1923 г., № 5).

9. Каданс. Истязания в Орловск.централе. „Каторга и Ссылка", 1924 г., № 2.

10. И. Ларский. Там, где ревизии не будет. „Совр. мир", Пет., 1911 г., № 7.

11. В. Мякотин. О современной тюрьме и ссылке. Журн. „Русское богатство", Петербург, 1910 г.

12. Орловский каторжный централ. Сборник статей Я. Д. Янсона, Ив. Короткова, А. Поддубовского, С. Часовенного, Г. Гурзы, А. А. Богуна, С. Рыкова, П. Сергеева. Изд. О-ва политкаторжан. Москва, 1929 г., 215 страниц.

13. Орловская каторжная тюрьма. Составлено по материалам запросной комиссии Государственной думы. Статья в журнале „Правда" (Венское изд.), 1910 г., № 11.

14. Письмо каторжан Орловского централа. Журнал „Знамя труда". (Женевск. изд.), 1909 г., № 26.

15. Тоже. 1909 г. № 28.

16. Тоже. 1912 г. № 45.

17. Питомник палачей-тюремщиков. „Каторга и Ссылка", 1924 г., № 2.

18. Н. Тетерин. В орловском застенке. „Дешев. библ." О-ва политкаторжан, М., 1926 г.

19. Ив. М. У-кий. Орловский централ. „Каторга и Ссылка", 1924 г., № 2.

20. Урядов Авен. Из дисциплинарки в Орловский централ. Журнал „Пути револ." 1927 г, № 4—7. Есть отд. изд.

21. Урядов Авен. Вести о войне. Амнистия. „Деш. библ." О-ва политкаторжан. М., 1932 г.

22. А. Чураев „Свершилось". „Деш. библ." политкаторжан, М., 1930 г.

## Б. Шлиссельбуржцы в Орловском централе.

23. Н. Билибин. В Орловском Централе. „Деш. библ." О-ва Политкаторжан, М., 1925 г. (неск. изд.).

(Письмо Билибина помещено было в целом ряде газет („Речь", „Бирж. ведом.") и журналов (Парижское „Авенир"—„Будущее", 1912 г., № 14, „Право", 1912 г., стр. 2326). Оно же напечатано в Ленинградском сборнике „Музей революции". Изд. 1923 г., стр. 87.

24. И. Вороницын. История одного каторжанина. ГИЗ., 1926 г.

25. И. Генкин. Поручик Жадановский (в Сборнике „Среди политкаторжан") М., 1930 г.

26. Илья Ионов. Письмо из Орловского централа. В сборнике „Музей революции". Ленинград, 1923 г., стр. 84.

27 И. Коротков. Воспоминания об Орловском централе. С предисловием т. Лепешинского. М., 1926 г.

## В. Обращения на волю.

28. Воззвание каторжан Орловского централа к русскому народу. „Каторга и Ссылка". 1924 г., № 2.

29. Запросы в Государственной думе.

30. „ 1909 г. Заседание от 12 мая.

31. „ 1912 г. „ от 7 мая.

32. „ 1913 г. „ от 25 января.

33. „ „ „ от 30 января.

34. „ „ „ от 29 мая.

35. „ „ „ от 7 декабря.

36. „ 1914 г. „ от 26 марта.

37. „ „ „ от 16 апреля.

38. „ „ „ от 16 мая.

## Отдельные характеристики.

39. Г. Гурза. Памяти крестьянина Белана. „Каторга и Ссылка", 1925. г., № 7.

40. М. О-ич. М. и С. Матлин. „Кандальный звон", 1926 г., № 4.

41. С. Хейфец. К биогр. А. Сапотницкого. „Каторга и Ссылка", 1925 г., № 3.

42. Е. М. Т-ев. Памяти Самуила Файнберга. „Каторга и Ссылка", 1922 г, № 2.

43. И. Генкин. Хождение по мукам, М., 1930 г.

## Разное.

44. Н. Кулябко-Корецкий. Тюремные трагедии и г. Хрулев. „Стол. отклики", 1912 г., № 8.

45. Очевидец. О каторге. Три большие статьи и журн. „Право", 1912 г, №№ 11, 12, 13.

46. В. Медем. По царским тюрьмам. С предисловием Д. Заславского. М. 1924 г.

47. Я. Зильберштейн. В тюрьме и по этапу. „Кандальн. звон", 1925 г., № 1.

(Оба автора—Медем и Зильберштейн описывают свое пребывание в Орловской губер. тюрьме).

48. „Тюремный вестник", 1911 г., стр. 175, 1389 и др.

49. И. Евдокимов (известный беллетрист) „Дорога"—повесть, в которой между прочим описывается жизнь в Шлиссельбургском и в Орловском централах. „Красная новь", 1931 г., № 5—6. (см рецензию в декабрск. кн. „Каторга и Ссылка" за 1931 г.).

2п. коп

